18+

Игорь Бордов

Походниада. Том 3

«Автор»
2026

Бордов И.

Походниада. Том 3 / И. Бордов — «Автор», 2026

Игорь Разумов перешёл на второй курс мединститута. Дина, любовь его жизни, "богиня", теперь с ним, - дарит ему благосклонность, радость эротической любви. Книга об их отношениях: Дина, кажется, ожидает, когда же Игорь дозреет до брака; Игорь же всё ещё никак не может понять себя. Он ходит в дальние походы, вязнет в кумаре институтской общаги, постигает премудрости медицинской науки, продолжает познавать дружбу. Куда приведут отношения Дины и Игоря?..

© Бордов И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. «Под солнцем южным...» 5
История 1. Недопоход. Спортлагерь, Бережки. Август 1991 6
1.1. Под «Энигму» 6
1.2. Заповеди 10
1.3. Танин хахаль 15
1.4. Человек 19
1.5. Первая разлука 25
(Собственно сама история 1) 28
История 2. Мишка Государев. Второе озеро. Октябрь 1991 30
2.1. Деревня 30
2.2. Второй колхоз 34
2.2.1. Разлад 34
2.2.2. Первый день 35
2.2.3. 6-я группа 36
2.2.4. Ира Селезнёва и День Западла. 39
2.2.5. Дина и колхоз 42
2.2.6. Пьяные будни 45
2.2.7. Берманские уточнения и отвальная 47
2.2.8. Возвращение 49
2.3. Второй курс 51
2.3.1. Государев 51
2.3.2. Институт 53
2.3.3. Вне института 55
2.3.4. Дина в сентябре 57
Конец ознакомительного фрагмента. 58

Игорь Бордов
Походниада. Том 3

Пролог. «Под солнцем южным...»

В какой момент Дина перестала быть богиней и сделалась для меня человеком?.. Трудно сказать. Очень трудно. Приехав в первый институтский колхоз, я увидел девушек повзрослевших, почти как и я, которые не сиживали со мной за одними и теми же партами, целеустремлённых и вполне понятных. Одни из них были как Мерилин Монро, другие — как «*кошка, гуляющая сама по себе*», третьи — как те, что способны удержать и даже погасить в себя наплыв содомской сволочи. Девушки прогрессировали в жизни, очертания их делались отчётливы и понятны. Через полгода после выпускного Дина пришла ко мне в институт, и я уже угадывал тогда в ней человека; я даже дерзнул протянуть руки к ней, в неё, в её жаркую темноту то ли бога, то ли человека. Она божественно отсекла мои руки, и, спокойно и едва ли не бестрепетно осознав это, я продолжил ходить по земле смертных.

В июле же богиня снизошла до меня. Я потянулся, и она потянулась, и мы поцеловали друг друга, и я стукнулся зубами о её зубы. Так это было. Потом мы бесконечно и ежедневно ласкали друг друга на её диване под повторяющиеся звуки «Энигмы». Оставалась ли она богиней? Нет. Но не была она и человеком. Она трансформировалась в кого-то, похожего на Прометея, принесшего лично мне огонь эротики, настоящей эротики. Яков Берман выпевал на первом курсе разные «блатняки», в том числе Розенбаумские, среди прочего это: «*Под солнцем южным, как под грудью у мадам — немного душно, но до одури приятно...*». Да, Яков пел что-то пошлое, но в какой-то момент, когда моя голова лежала у Дины на коленях и над собой я ощущал-видел тень и липкую, солёную теплоту её груди, меня поймала та навязчивая еврейско-блатная строчка. Неужели я настолько взросл, что это пошлое слилось со мной, сделалось частью моей жизни?.. «*Грудь мадам*», «*душно*», «*приятно*» ... Мне было плевать. Я тянулся вверх и всасывался, всасывался в Динины губы, зарывая свои растопыренные пальцы в волосах на её затылке. Она отвечала. И это было жарко, сладко, душно и бесконечно. Божественно бесконечно...

Потом я поехал во второй колхоз.

В нашу 8-ю группу прибыл Майкл Государев после академа.

Все эти экзамены по фармакологии, физиологии, микробиологии, КВН-ы, снова общага, общага, общага...

Я ходил в Крым с Ярославной и компанией в марте и сентябре 1992-го. В сентябре, в самой середине похода я рассорился не на шутку с Вестницким. И тогда же Дина написала, что разрывает со мной.

Ещё в то время я отправился в свой первый водный поход. Байдарки.

Наш спортивный лагерь на Волге, где я чуть не утонул. Универский лагерь на Борском, куда я приезжал к Дине.

Думаю, всё-таки, Дине не следовало становиться человеком для меня.

И думаю также, ей так и не удалось стать человеком для меня...

История 1. Недопоход. Спортлагерь, Бережки. Август 1991

1.1. Под «Энигму»

Это было так. Я приходил вечером. Дина ставила «Энигму», и начиналось. Мы не говорили. Исподволь синтезаторно-рожковые гудки-наплывы, медленно громче, громче. Дина усаживается на мои колени, лицом ко мне. Я сижу на диване, ближе к правому флангу, где дверь и неважно-родители. Мой пах к её паху сквозь ещё одежду, долго.

На излёте вступительных гудков, всё более волшебных, обрывающихся, как у битлов в последней песне с Револьвера, слова женщины-лирической-героини. Её слова говорят о какой-то медитации, а не о сексе, но интонации — о сексе, и только о нём. (Медленно-чарующе.) «*Добрый вечер. Это голос Энигмы. В ближайший час мы возьмём вас с собой в другой мир. В мир музыки, духа и молитвы-размышления. Выключите свет. Сделайте глубокий вдох. Расслабьтесь. Начинайте двигаться медленно. Очень медленно. Позвольте ритму музыки быть вашей путеводной звездой...*» Мы уже целуемся. Тягучие звуки фоновых медитационно-колдующих синтезаторов переплывают в револьверные с зада наперёд отрезки ирландской волынки, гармонично-хаотично. Затем всплывают эти католические, проникновенные восклицания, моления о том, чтобы мы с Диной восполнили их кастрированную, вмёрзшую в своды костёлов половую мучительную энергию. Потом, вперебой, внезапно-эффектно — обещанный ритм, электронные барабаны, которые прерывают медленные движения и навязывают интенсивные — юношеско-эротические, исследовательские. Мои руки. Без губ, если важнее руки. Либо, чаще, вместе с губами, когда важны и губы, и руки. Католики выпевают кольцами, под барабаны и рассыпающиеся зеркала неторопливой, самозабвенной страсти. Переход в плавность. Снова их напевы про обиду на кастрацию и примирение с нами, плескающимися в коже и поцелуях друг друга. В паузе — депешмодово задорное, электронно-загадочное тиканье-токанье: здесь мои руки уже уговаривают Динины застёжки на её спине, гладко-липкой, говорящей спине, и спина соглашается с моими уговорами. Разнимаю в стороны мелкие, крючковидные, запрещающие железячки — теперь свобода. И Энигма позволяет. Не только позволяет, но и ликует! Напевы её рожков делаются мелодичными. Револьверная рваность служит теперь гармонии и это совпадает с тем, как мои руки проползают по Динину животу, ползут вверх, и здесь — ах! — её тяжесть, её позволение, её расстёгнутое таинство, её кругло-мягко-эластичное торжество и мой благодарный, округлоглазый — неужели! — восторг!.. Дальше — всё снова и снова мелодия из ирландских рожково-револьверных обрывков, чарующая; и моё исследование Дининой груди, её рта; её даже не согласие, а её — навстречу. Нам Энигма по-английски сказала следить за ритмом, и мы повинуемся, следим...

Тут голос Энигмы говорит что-то по-страстно-французски: *сан, тимуа́*... [пам-пам-пабам]. И повторяет... Потом врывается мужской голос, дьявольский, особенно гармоничный с нашими с Диной движениями, и даже в этом его французском слышно в нарастании, в кульминации, усиленное электронным эхом ДЬЯВОЛИКЬ. После чего — вот это! — доказательство, что музыка наша про секс, а не про католических монахов и медитацию: женское страстное внезапно в паузе придыхание: аxx-аxxxx-аxxxxxx.... Пауза. .... И — снова рожки! Мелодичные... Повторение. Уже привычное. Плато. И уже рука моя между лопатками, там, где свободно от крючков, и только — расслабленные хлястики-крылья по бокам, уже фикция, а не защита, вверх-вверх, к затылку. Поцелуи не прекращаются, игра языков. Мы молча общаемся языками. Энигма говорит за нас. Перекличка страстного женского шёпота про САН ТИМУА

с кастрированными, страстными певчими. Динины пальцы тоже у меня в волосах на затылке, электричество ползёт по шее и спине. Я не знаю, что у нас там внизу, где Дина прижалась ко мне, — важнее, что́ творят наши рты и руки. Я не знаю, кто из нас, я или Дина, исследуем рот друг друга языками, — мы оба усердны в этом, соглашаемся, опережаем, не спорим. А Энигма отсчитывает ритм... Когда Энигма говорит: САН. ДОНМУА, — я скольжу губами вправо и влево, как ошалелый, по её губам.

Когда католические язычники отвечают Энигме хором, моя рука, возвращается с раздолья Дининой спины к её освобождённым грудям, между одеждой и плотью, преступно-разрешённо, а языки всё играют, играют. Я — мой язык, и я — мои руки; то, что даётся мне, устремляется мне навстречу, плавно, гибко, гладко, я ловлю, ловлю в этих монашеских завываниях... Затухающих...

Переход в электронное бульканье вперемешку с электронным лошадиным ржанием, уходящим в эхо и этим опять ритмичным женским дыханием, навстречу, навстречу. Как Дина умело льнёт ко мне! А я слушаюсь. Это как танец, она ведёт, я — подчиняюсь. Под Энигму.

Электронные лошади ржут сильнее, женщина дышит страстно, жарко, ровно, ритмично, булькающая вода распластывает гармонию.

Потом дыхание женщины учащается, вступают клавиши, говорят: трогай её здесь и трогай здесь, вонзись в её тихую, гладкую, податливую кожу своей ладонью, гладь, видишь, как она откликается, льнёт? сама гладит спиной и грудью твою ладонь? вжимается?

Клавиши и ритмичное женское дыхание, не как в строгой, жёсткой депешевой *I Want You Now*, — глаже, разнообразнее.

И вот тут, в бульканьи и проснувшихся барабанах, я опускаюсь губами и лицом к Дининой груди, вожу круги щеками там, где под тканью её соски, она откидывает голову назад, под танцем, чтоб грудь её была моей. Мои руки под кофтой окружают её груди, поднимают, облепляют, потно утягивают к лицу, к лицу, к щекам и рту. Рот ползёт вверх, вверх, по шее, к губам. И снова — в Дининых губах, губы к губам, глубоко, глубоко, волшебно, как нигде в мире. Сладко и зло. Без осознания зла. Потому что уже давно в темноте, в католической песнопесенной, языческой бездне.

Женщина поёт-пробубнивает страсть свою. Что-то про принципы наверняка чего-то основополагающе-сексуально-главного. Рваный ритм. Искажение сексуального звучания. Наши с Диной тела воспринимают это рваное то ли как некий отдых, то ли, напротив, как некое возбуждение. Наши тела задумываются, а руки-губы бегут вдруг куда-то ещё.

Ровные барабаны и плавность синтезаторов и фортепианных клавиш... Мы подчиняемся и отдыхаем. Просто целуемся, застыв. Исследуем губы и рты друг друга...

Возвращение к изначальной рожковой мелодии. Снова САН ТИМУА. Это оживляет мои руки, и они ползут. Ползут по позвоночнику Дины вниз. Молоток. Вбивающий навеки в память. Это САН ТИМУА и движение моей руки, ползущее, основательное, под резинку Дининых трусов, к её вожделенному заду, и она приветствует, не отвергает. Туда — в складку, и ниже, ниже, где сыро и мягко, жарко и восторженно. С теми же поцелуями.

Узнав, что там ей можно быть, моя рука змеёй возвращается, под затихающее «сан тимуа» — монахи, «сан тимуа» — монахи, «сан тимуа» — отдалённое, электрическое ржание лошадей — монахи, на Динину жаркую поясницу.

Дина настораживается... Мама в коридоре проходит мимо нашей закрытой двери на кухню, моя рука на пояснице Дины, мы вдруг слишком разнузданно-близки: она верхом на мне, прижатом к дивану, её распахнутые ноги, лоно — к моему лону. Мама прошла на кухню. Пауза. Вернулась в большую комнату. Динино лицо поворачивается ко мне. Её рот открывается к моим губам. Целу́ю её. Целу́ю.

Снова Энигма.

Энигма делает паузу в страсти и включает теперь сверчков и вечернюю гладкость. Мы подчиняемся. Женский вокал, заблудившийся, зовущий, завлекающий. Теперь я не могу проникать под Динину резинку надрывно. Но могу теперь делать это нежно, и Динина поясница говорит — да. Журчит вода. Мои пальцы. Там, где не положено быть даже пальцам Дины. Потому что это — таинство!.. Но Энигма (Загадка) утихомиривает нас — и её, и меня — говорит: хватит! ты можешь. Изучай каждую губку, каждую складочку на её анусе, каждый волосок.

Клавиши Энигмы гармонично падают. Размеренно. Подсказывают мне: не торопись, не следует наводить порядки в чужом раю. И моя рука возвращается на поясницу моей полубогини. Дина целует меня, соглашается со всем, соглашается с музыкой Энигмы. И мы целуемся, целуемся, целуемся. Умиротворение. Умиротворение рая. Голоса рая. Женско-детский голос из джунглей: *аййаяяяааа... аййаяяяааа*. Мягкий. Гладкий и спокойный, как Динина кожа под моей рукой.

Перещёлкивание ударников. Шёпот Энигмы. Оперный голос, одинокий, его побеждает голос джунглей, разнуздано-детский. Потом — мягкий, осторожный топот лошадиных копыт по камням. По камням нашего дивана, камням нашей кожи, где мои горячие, спокойные, умиротворённые, любящие, глупые руки.

Затихание. Шум дождя. Гром. Маршевые деревянные барабаны и тревожный звук колокола. Теперь — опять монашеские волнообразные напевы, как бы собирающие на «праведную» войну. Здесь я впервые чувствую дискомфорт. Почему под такие звуки мне следует ласкать Дину? Но Дина, я чую, соглашается, и мы вместе тайно лицемерим. Мы не верим, что Энигма взаправду собирает сейчас кого-то на войну. Ну да, Европа, какие-то прошлые века... Недаром же эти лошади, их копыта о камни нашего уютного дивана... Целуемся.

Тут барабаны резко делаются интенсивными, ирландские рожковые тягучки возвращаются к главной теме, и моя рука снова — уверенно по позвоночнику Дины — вниз.

Женщина что-то речетативит про католическую вину, и понятно, что всё тут — о страсти, об удовлетворении страсти, а не о вине. Динина попа. Мои пальцы там, глубоко внизу, и ладонь.

«*Моя вина*».

Электрическая гитара, в занудный перелив с женскими ритмичными ахами, строгими, надсадными барабанами. Выпиливает пискляво древне-церковную страстную тему, пока рука моя тонет, тонет, там, где ей позволяют. Динины руки на моём затылке. Языки. Электричество на спине.

Пауза. Опять в тишине признание в какой-то там католической вине. Французское слово: «*Омма*» (я слышу это влизывающееся, колдовское слово, как раз тогда, когда моя ладонь и мои пальцы живут своей жизнью в бесконечных, непознаваемых магнитных пространствах её ягодиц. И согласна с этим).

Страстно шепчущая женщина разговаривает наперебой с солдатским, под дождём, барабанным боем.

Потом — нечто немелодичное: какие-то заговоры, зашёптывания, что-то немузыкально зловещее.

Перебой снова в гладкость, в музыку. Под булькание реки и гитарные кометы, перекличку рожков и медитативных напевов. Целуемся. Наши поцелуи — главная тема. Прочее — менее важно. Добыча поцелуев, как добыча золота; нет конца и края добыче этой.

Пауза. Снова завывание монахов в пустыне под звуки капающих металлофонов. Мы всё там же, на диване, дегустируем, дегустируем губы друг друга. Нам не скучно. Мы не доходим до некоей стадии несдерживаемого возбуждения, рисуем и рисуем поцелуи на ртах друг друга, опытные уже энигмовские всезнайки.

Начинаются ремиксы первых слов Энигмы: «*Выключите свет. Выключите свет. Сделайте глубокий вдох. Сделайте глубокий вдох. Расслабьтесь. Расслабьтесь*». Барабаны.

Пустыня. Уже без лошадей и без воды. Только влага наголо́ ртов не истощается. Мы неутомимы.

Ни я, ни Дина не знаем, что такое половой акт. Плевали мы на это. Нам хорошо и так. Бесконечно хорошо.

Ксилофон и робот энигмового ремикса блуждают в пустыне. А мы не прекращаем целоваться, и мои руки округляют и оглаживают её грудь.

Бедуинское зигзагообразное, тянучее соло. Должно куда-то это занудство выползти.

Да. Наконец. Россыпь. В тонкий мужской вокал. Некое подведение итогов. Тему его вбрызга в полотно Энигмы подхватывают благословенные рожки. Умиротворение. Если бы на нашем с Диной месте были опытные любовники, они к такому апогею лежали бы в неге и истоме, опустошённые и выдохшиеся. Но тонкий мужской вокал медленно утихает, Дина встаёт, идёт к столу, где покоится кассетник, перематывает на начало. Я жду. Щёлк! — перемотано. Нажимает клавишу «ПУСК». Возвращается ко мне на колени.

С начала... День за днём.

1.2. Заповеди

Когда я вернулся с Борского, где оказалось, что тот поцелуй у ночного троллейбусного депо 1 июля был не случаен, мне вдруг захотелось сфотографировать себя. Мне думалось: каков он сейчас, этот человек? — тот, кому позволено целовать богиню... Вдруг. Как снег не то на́ голову, не то за шиворот... Баловень судьбы. Ха. Или вот, как Вестницкий меня назвал: «герой-любовник».

Мне было гордо, что я оказался таким; что богиня согласилась слиться со мной, смертным.

Я уселся на письменный стол в своей комнате; позади, за моей спиной, на стене — постер с битлами, купленный два года назад в Ленинграде. Битлы, выряженные в сержантские, пепперские костюмы, на ядовито-жёлтом фоне. Великолепная четвёрка. Я приладил «Смену» на верхней полке музыкального столбика, направил объектив в сторону предположительного места своего красивого восседания, взвёл тресщачий серебристый рычажок автосъёмки. Убежал, сел на стол — 15 секунд — выкинул вперёд распяленную руку на манер кривляющегося Пола Маккартни на одном из двадцати снимков с обложки альбома A Hard Day's Night.

Проявил. Напечатал. Вышел молодой человек. Глупый. Жест Маккартни мог подойти лишь Маккартни, а я перед битловским постером детск, безус, в глазах нет ни смысла, ни основательности. Бравада безмозгла. Таких никчёмных не должны целовать богини. С чего бы?.. (Однако целуют.) Кто их поймёт, богинь этих?..

Дина учила меня. Многому значимому. Я внимал.

Едва ли не на первом свидании она рекла:

«Если мы поженимся, я не буду готовить».

Я промолчал. Про себя подумал: «Странно. Почему?.. Почему для моей богини подобные суетные банальности настолько важны, что она вот сейчас сообщает мне об этом?»

«Значит, так надо!» — ответил я сам себе про себя. — «Не противоречь и не уточняй. Какие всё-таки это глупости по сравнению с тем, чтоб целовать богиню! Мне. Бестолковому. Всего-то «не курить» и «готовить вместо неё»».

Ещё она учила:

«Ты должен идти слева от меня. Ты ведь правша. У тебя на поясе слева — шпага. И если на нас нападут, ты должен выхватить её из ножен, никак не задев меня. И чтобы я не мешала тебе, понимаешь?»

Я молча, вдумчиво принимал и это. Эту её мушкетёрскую мудрость. Мотал на мягкий, едва обозначавшийся ус.

Другая заповедь. Я усмотрел на улицах иногда гуляющих влюблённых, таких, что парень кладёт руку на плечи подруге, так, что локоть согнут позади её шеи, а кисть вольготно и расслабленно ниспадает вниз, к груди девушки; так и идут. Когда я попытался проделать то же самое с Диной, она свирепо стряхнула с себя мою руку, вонзила в меня изничтожающий взгляд и отчитала сурово: «Никогда больше так не делай!!» Я понял: приличных, знающих о своём достоинстве девушек можно осторожно и нежно, гуляя, обнимать за талию или, так же нежно, — за плечи со спины. А вот этак, как я с дури попробовал, можно только с друганом-Венчуком во хмелю идти, ну или там с б....ю какой-то. А не с Диной.

Также мы «никогда не целуемся на улице!»

Однажды я изобразил вот что. Мы оказались, гуляючи, где-то позади 35-й гимназии. В те времена там ещё не провели шоссе и было относительно безлюдно — один-два смурных пешехода тут да там. Я сказал:

— Дина, стой!

Она остановилась. Я спросил, сделав широкий, расстилающий пространство жест:

— Это улица?

— Нет, — сказала она, недоверчиво озираясь.

Я тут же метнулся губами к её губам. Она рассмеялась, освобождаясь от поцелуя.

— Смешно ты меня провёл, — сказала она, прижимаясь ко мне, когда мы уже шли дальше. И в этом её тёплом прижимании я почувствовал, как она ценит такой вот незатейливый мой юмор и находчивость мою. Она, пожалуй, в тот момент гордилась мной, вкипала в меня настоящей любовью, как в кого-то на самом деле достойного её любви.

Дина продолжала знакомить меня с заповедями своего закона.

Однажды, когда Энигма ненадолго смолкла, я сидел всё там же, у правого фланга дивана, а Дина легла на правый бок, рядом.

— Мы не будем туда и туда, — сказала она игрушечно-смущённо, в полтона.

— Что? — почти не расслышал я.

— Не будем туда и туда, — и перевела тоже смущающийся, в полтона, указательный палец у живота сначала в сторону своего рта, потом — куда-то неопределённо за спину.

Я понял, что она имеет в виду. Снова говорит про наше женатое будущее. Когда можно будет «нормально», но нельзя «туда и туда». Ладно, — довольно равнодушно пожал плечами я.

Отправились в «Искру» на «Бум-2». Вообще, всё наше время с Диной состояло на одну треть из прогулок с болтовнёй о всякой безделице, сидения в кинотеатрах, езды в троллейбусах, и на две трети — из обоюдных ласк на диване под Энигму. (К слову, о суетной болтовне: Дина никогда не вспоминала про комсомол, как будто его никогда и не бывало в её жизни; видимо, пройдя сквозь девичью подростковость, Дина презрела политику, как вполне-себе бессмысленный концепт, и ныне серьёзно думала только немного об универе и много — о важности как можно более скоропостижного замужества; на таком, в общем-то, неплохом человеке, как я, к примеру.)

Опять прямоносая, идеальной внешности девушка-подросток Софи Марсо. В этот раз родители её персонажа решили разводиться. И странно: избавил их от этого шага факт вдруг беременности. Мама героини, художник, отправила «сложному» мужу смысловой рисунок: на кровати лежит пивной забулдыга с пивным же гигантским животом. И папа героини, посмотрев на рисунок, мгновенно понял: так, моя жена беременна! Надо же. Не то чтобы я подумал: а будет ли у нас с Диной когда-нибудь такое вот дивное взаимопонимание? Но было удивительно, по-киношному. Мама моя порой шутила с папой: мол, они понимают друг друга с полуслова. Что ж. От такого я был пока далёк. Смотрел на мир с открытым ртом, как беззубая, мудрая акула. Собственно, этот беременный момент — всё, что я запомнил из фильма «Бум-2».

Я чувствовал: Дина несколько надмевается надо мной. С этой своей эротической и мушкетёрско-эстетической больше меня опытностью. Но поскольку её правила уходили по смыслу никак не дальше некоторых движений и манер, я нисколько не оскорблялся, а, напротив, с некоей долей благодарности воспринимал «обучение».

Июльским солнечно-росистым утром, вскоре после того, как Дина вернулась с Борского, может быть, три или четыре дня спустя, я заявился к Дине в спортивном костюме, и она снова брезгливо отчитала меня. Сказала, что не любит, когда мужчины ходят по городу, как эти дешёвые олимпийцы. Мне даже сделалось стыдно.

Тем более, тут же вспомнилось, как однажды по пути на огород в Оголино, я, в таком вот костюме, не сумел утаить от пассажиров свою спонтанную юношескую эрекцию. Некая дама

средних лет, помню, укоризненно посмотрела на мой вычурный олимпийский горбыль, и вся даже как-то в одно и то же время и сморщилась, и сделалась розово-возмущённо-выпуклой. Мне было жутко стыдно, конечно. И вот, в таком виде, я, видите ли, припёрся к возлюбленной!.. Эх!

Но что же делать? Мы отправились на прогулку. И нас занесло в сосновый бор, к западу от того странного одноимённого санаторийчика возле областной больницы. Как раз туда, где полтора года назад мы с Андреем Венчуком и Владом Сотовым ходили босиком по снегу вокруг хохочущей и призывающей нас образумиться Ирки Никитенко. Но то была зима. И полтора года назад — когда-то давно-давно!.. Теперь мы здесь с Диной. И солнце вверху. Хоть и расстриженное сосновыми прямыми.

Летом в этом бору противнее, нежели зимой. Звук машин где-то совсем рядом, мусорно. Солнце не уничтожает и даже не гасит мерзкий городской мусор и звук машин. Всё же мы нашли старую поваленную присиженную сосну и приютились на ней. Вверху — солнце, по нашим рукам, по головам; бор со всех сторон ненадёжен, просматриваем, хотя, кажется, в этом месте — довольно кучен.

Дина то и дело озирается кругом и по сторонам. Я целую её, но она напряжена. Это не мама отшагивает свой часовой ход за закрытой дверью, это — город; а бор — «липовый», а никакой не сосновый. Но я навязчиво тянусь к Дининой груди, всё стираю и стираю дурацкие бретельки с её плеч. И Дина нехотя, озираясь, помогает их стереть, вначале одну, потом — другую. Я вижу её грудь под солнцем. Тянусь её целовать, но Дина отстраняет мою голову, тянется вернуть бретельки обратно на плечи. Я сопротивляюсь, и она какое-время — минуту или две — позволяет солнцу и моим глазам светить на её грудь. Нет, — груди́, высвеченной солнцем, позволяет светить в мои сосновые, сумрачные, глупые глаза. Очень ярко! И как-то неуместно здесь, в этом дурном машинном бору, без Энигмы, занавесок и мягкости дивана. Белые, белые груди. Почему она вовсе не загорала на этом своём Борском? Чудо. Ареолы небольшие, может по три сантиметра; если сморщенные, то чуть-чуть совсем (а иногда, я потом замечал, они почему-то делались расправленными, гладкими, выпуклыми, приподнятыми, нежно-нежно розовыми, почти вровень под цвет кожи, может быть, — в минуты особенного возбуждения). Соски — аккуратные, небольшими конусами. Чужеродное всё-таки здесь. И солнце чеканит эту чужеродность. Бе́ло, уютно-комнатно-округло, в таких вот строгих, прямых, ввысь к солнцу-прожектору устремляющихся мусорных, чёрно-скупозелёных соснах. Я всё равно тянусь руками, чтобы округлить, вычленить для себя из природной прямоты чудо моего вожделения. Снова — тяжесть, плотная, удивительная. Но теперь — сращённая с тревожной Диной, с её боязнью городских глаз. И Дина отстраняет мои руки.

— Хватит. Пойдём домой лучше.

Возвращает назад, на плечи, досадные бретельки.

Мы идём в нашу комнату.

Выходной. Утро. Мама дома. Буднично дома. Разнузданными можно быть только вечером, когда мама ходит за затворённой дверью мягко, по-вечернему, как будто Энигма гипнотизирует, лунатизирует её. А сейчас её шаги будничны, и солнечным-летним-днём-в-окна Энигма лишается части своих сил.

Тут случается то, что внезапно удивляет меня. Мы сидим на диване. Я — на правом, привычном, фланге, в сени Дининых шоколадных обоев. Бася, Динина дымчатая дикая кошка — на спинке дивана, у окна, косится на нас, тоже чужеродно, но и по-свойски, не так, как сосновый бор.

Дина сидит с зазором, на расстоянии тревожно протянутой руки от меня. Наверное, мой давешний ненавистный олимпийский костюмчик тут-то вдруг как раз обозначил в себе некие преимущества. Это ведь не то, что в троллейбусе, под взорами средневозрастных дам. И Дина

посылает вперёд руку и принимается за своё исследование. Подобно тому, как я исследовал её грудь в мусорном бору.

Тянется к моему горбылю, притрагивается и... вдруг отдергивает руку! Как от горячего чайника. Я изумлён! (А как же все эти Стебловы-Бармаковы? она разве не исследовала у них?) Впрочем, я не думаю именно о Стеблове и Бармакове, — мне в общем странно, — где же её опытность? Или она так вычурно играет?.. Нет. Снова тянется, проникает рукой под олимпийскую резинку, к твёрдой наготе моей и... — опять отдергивает! Как будто там у меня — изолированное от меня живое, опасное существо. Я вспоминаю Жору Фокуса со всей его учёной нормальной анатомией, и мне про себя немного даже смешно от этого Динина цирка с рукой и отпрянываниям руки. Но я не подаю вида. Меня самого завораживает её исследование. Во время «энигматических сеансов» её лоно прилито к моему. А тут — по-другому, тут — исследование. Пускай, — учёно-смиренно, про себя, ухмыляюсь я. Аккуратно приобнимаю Дину за другое плечо, то, что к окну. Бася спрыгивает на пол и смотрит на нас с пола. Дина, повинуясь моему приобниманию, склоняется ко мне ближе. С третьей попытки уже не отдёргивает руку, поступательно, пугливо исследует пальцами и ладонью. Я не тороплюсь её целовать, не мешаю, не хочу отвлекать от этой её увлекательной науки.

Спустя время мы всё же уплываем в губы друг друга. Дина переносит ладони на мой затылок, перекидывает левое бедро через меня, — её лоно снова там и так, как научила Энигма. Целуемся, простираемся в губы.

Приоткрывается дверь, заглядывает мама. Дина вздрагивает, делает запоздалое, отстающее движение долой с моих колен.

Мама говорит:

— Ой! Извините... — прикрывает дверь учтиво: и не резко, и не надменно-нравоучительно. Как надо.

Мы больше не распутничаем сегодня. Мы осторожны. Играем в карты и пьём чай с конфетами.

На другой день, пожалуй, между первым и вторым заходом Энигмы, Дина сообщает мне почти на ухо, смеясь, но смеясь как-то не вполне искренне:

— Мама вчера сказала: «Дина, ты осторожней!» (Хмык, поглаживая двумя раздвинутыми пальцами над моим ухом и дальше, к затылку.)

То была главная заповедь. Ни-ни. Вот только так, как мы тут на диване делаем, — это мамин завет. Дина и смеётся над мамой, и трунит, но смеётся и трунит не всамделишно, — для вида, для бравады только.

А так, это очень и очень глубоко. Залито свинцом в форму. Дина смеётся не над устарелостью и сомнительностью маминой заповеди, а над маминой смешной, партизанской недоверчивостью. Она-то, Дина, тверда, я же вижу. Вижу я? — Да конечно, конечно. Мне же вполне хорошо с нашей Энигмой тут, на диване, гораздо больше, чем хорошо. И не надо меня проверять всякими двусмысленными полусмешками над мамой.

«Если ты мне изменишь, то и я тебе изменю». Ещё одна заповедь. Зуб за зуб. Её не то чтобы серьёзный, но и не вполне шутливый тон. Тон-хамелеон. И снова моё молчание. Нейтральное даже не пожатие плеч, а скрыто-подобострастный, осторожный взгляд на идущую рядом, справа, как положено, зловещую законодательницу. Какие ещё измены? Мне показалось, в нашем расцвете, в нашем сейчас океане лобзаний и ласк впускать в голову даже намёк на такую мысль крамольно. Но нет, это — опять пророчество на наше остепенённое будущее. Заранее обговоренное соглашение на случай, если речь зайдёт об альтернативных видах секса, или о том, кто должен готовить, или вот, о справедливом возмездии: не «уйду, разведусь, возненавижу, по-наутилусски вырву чресла», а именно: «тоже изменю» (неважно с кем; всегда, видимо, найдётся; уже и сейчас, видимо, уже кто-то имеется в загашнике на «чёрный день»).

Из-за поворота выскочил бешеный мальчик на велосипеде, врезался ровно в середину передней поверхности моего джинсового бедра и, не извиняясь, умчался дальше по Постникова.

Мы свернули во двор 5-й горбольницы, откуда как раз и выскочил этот противный, мелкий сшибатель влюблённых пешеходов. В больничном дворе было пустынно; убогая, покрытая потрескавшейся голубой краской лавочка посередине двора покоится в тихой июльской вечерней неге. Прямо — белокирпичный стационар, пятиэтажка, справа — длинная поликлиника в два этажа. Мы устроились на той неказистой, из двух плотно-сдвинутых досок лавочке. Я приспустил джинсы, чтобы оценить повреждения на бедре: кровоподтёка не было. Только боль. Боль тупая, гасимая бесконечно наплывающими волнами юности, с растворённым в каждой волне стаканом гормона реализованной любви. Когда я вернул джинсы на место, Дина уселась на моё левое, здоровое, бедро; я нежно поглаживал её спину, ощущая подушечками лёгких пальцев плотную полоску сомкнутого в настоящее мгновение бюстгальтера, той-самой преграды, преодолевать которую мне уже позволено иногда. Дина так же нежно перемещала свои тихие персты в моих кудрях. Возможно, нами любовались пациенты и персонал больницы, но мы их не видели — оба были близоруки — и поэтому презрели всякие возможности; сидели на скамеечке так, как будто совсем одни, как будто больничные здания вокруг нас мертвы, как мертва бывает школа на каникулах.

И долго так сидели, прислушивались к тишине лета.

Да, Дина иногда нарушала свою заповедь о скромности в общественных местах. И, как назло, мгновенно находились некие посторонние соглядатаи и блюстители её же закона.

Однажды, глубоким, уже осенним вечером мы почему-то возвращались из Покровки на троллейбусе — должно быть, навещали Атрошину, Динину университетскую подругу, проживавшую в тамошних девятиэтажках, — и Дина села ко мне на колени, хотя, кажется, в салоне были свободные сидения. Тут из среды пассажиров выпятилась некая злая женщина и сварливо отчитала Дину. Мол, «позорище» и «я всё расскажу маме твоей». Дина соскользнула с моих колен и тяжело понурилась.

— Что такого-то? — огрызнулся я в осенний воздух, когда мы сошли у фабрики Фрунзе.

— Это мамина знакомая с работы. Обязательно расскажет, — сквозь зубы, с смешной, подростковой досадой буркнула Дина.

— Да и плевать. Мама нас видела...

— Не плевать... — обрубила Дина, идя рядом с приличным зазором, не позволяя взять себя за руку. Сходя с троллейбуса, она оперлась на мою протянутую мушкетёрскую ладонь (учтиво помогать даме спускаться с подножки кареты — тоже закон!), но потом, сойдя на асфальт, отвергла её. По шиповниковой дорожке мы шли молча. Я не знал, о чём она думает: о мамином ли законе, о своём ли собственном в таких вот дырах, или о давешней троллейбусной грымзе с её угрозами. Потом, там, где прерывался ряд дивных кустов, уже утративших свои благовонные розовые лепестки, Дина оглянулась кругом, щурясь в осенний, недружелюбный мрак, и подала мне руку. Сохраняя, впрочем, печаль на лице. До Дининого подъезда мы дошли, держась за руки, в примирённом с законом молчании.

1.3. Танин хахаль

Таня Пьянкова — Динина школьная подруга — поступила в педагогический в Укромск. Следовательно, если Дина могла стать учителем физики и математики, то Таня хотела только малышей начальных классов.

Таня сохраняла свой бойкий, жизнерадостный задор. По вечерам они с Диной собирались где-то во дворе внизу и по-девчачьи шушукались о мальчиках, сексе, отношениях с мальчиками и подобном; взаимообразовывались. И рвались на дискотеки. Не знаю, зачем. Вряд ли чтобы найти новых мальчиков, ибо мальчики в наличии имелись. А как все — вытанцевать избыток молодой энергии; чтобы на университетских парах можно было сидеть и внимательно слушать. Возможно, дискотека, в некотором смысле, тоже — что-то вроде портала для невинной реализации сексуальности: ты делаешь под музыку некие раскованные движения, некие безликие мальчики на тебя косятся; как позже я услышал у «Крематория»: «*В тёмном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад*».

Дина, тогда ещё, в раннем нашем июле, пригласила меня составить компанию ей, Ане и её парню.

— Что за парень? — спросил я.

Дина на пару секунд задумалась.

— Ну-у-у, он такой накаченный...

(«Надо же», — мгновенно подумалось мне, — «вот она, ключевая характеристика. Почти что полный портрет».)

Дина продолжала, сделавшись серьёзной, вдумчиво, с прагматичным акцентиком, тревожащейся за подругу:

— Он предлагает ей выйти за него. И она готова согласиться, но... Мне кажется, она ему не дорога́...

— Как это?

— Не знаю. Сама Таня сомневается чуть-чуть. Она пойдёт за него, а что ей делать?.. Но мне как-то неспокойно...

— Как «что делать» ?..

— Ну, вы, парни, этого не понимаете. Пройдёт несколько лет и нас уже никто не захочет взять...

Я снова молчал. Новая мудрость Дины-пророчицы. Здесь следовало придержать язык.

Вдруг Дина остановилась и выбросила серьёзно-весело мою руку на ветер, повернулась по-солдатски-шутливо ко мне. То было на правом фланге улицы Афанасьева, в сторону леса.

— Вот ты́! Ты возьмёшь меня?!

Я потупился.

— Конечно возьму, Том. Ведь я люблю тебя...

Дина выдержала маленькую паузу, глядя на меня, потупленного.

— ...Любишь. Знаю. И я тебя люблю, — и поцеловала меня «на улице», нарушая заповедь своего закона ради такой минуты.

Взяла меня за руку, и мы пошли дальше, к лесу, рядом. И Дина оживилась, стала задорной и сдержанно-счастливой.

— «Накаченный»? — спросил я. — А я как тебе?

Дина сказала спокойно-правдиво:

— Ну, вообще, у тебя фигура нормальная, соразмерная, со спины особенно, треугольником, плечи довольно широкие. Худой, конечно, но мне не проблема.

Она улыбнулась и приобняла меня, пропустив руку подмышки.

Мы, счастливые, шли...

Танин парень и впрямь оказался накаченный. Ну так, в меру; невысокий, по крайней мере, с Таню ростом. С ходу я понял, что он «из простых», то есть не из «интеллигенции», вроде общажного Немоляя и уж тем более Измайлова или Мурзаева. Что-то отдалённо в нём было от Вовчика Пермякова и параллельно от Бородатыча. Я достаточно плохо помню его. Руку мою он пожал вяло, как Бородатыч, видом же был компактен и округл, как Вовчик. Вовчик «знал жизнь» щупательно, с хитромудрым анализом, Бородатыч же её «знал» деревянно, квадратнолице. Одно рукопожатие и округлая, низкая конституция ничего мне не сказали. Зато, когда Дина-Таня бодро отправились танцевать, Танин «хахаль» присел со мной рядышком на подоконник (либо на, может быть, то, что его заменяло), и я увидел его достаточно внятно. И, вдруг, с недюжинным удивлением.

После обмена парой блёклых, знакомящихся фраз, он вдруг ошарашил меня:

— А у тебя кто-то есть ещё, кроме этой? Надеюсь...

Я посмотрел на него.

— В смысле?..

— Ну слушай, — он небрежно махнул расслабленной, вялораспяленной ладонью в сторону весело-задорно танцующих Дины-Ани, — это же «жёны», понимаешь? — Он повернул голову в дискотечной музыке и взглянул на меня с такой интонацией, как будто я был слегка туповатым, незрелым, но потенциально способным недотёпой. Он тут же разъяснил, нисколько не смущаясь тем, что я могу вдруг поверить его секрет кому-то. — У меня есть подруга, я её пялю, понимаешь? А это кто? — он снова указал своей вялой ладонью на радостно танцующих Дину-Таню, и пожал плечами с жестом этаким сочувственно-ироничным, — на таких только жениться можно.

Я молчал. По молчанию моему, я видел, он понял, что я тоскливый недотёпа (не «валет»; для награждения меня формулировкой «валет» он был не вполне гопник, — вообще, он не походил на гопника, а скорее на обычного советского быдлового гедониста или кого-то наподобие). Я понял его и больше не говорил с ним. И он со мной. Думаю, он мгновенно счёл меня бестолково-романтическим лохом, не умеющим правильно пользоваться жизнью, а потому не достойным ни участия, ни сожаления, ни уж тем более презрения. Я, со своей стороны, взирая с условных высот второй полки первого общежития, думал о нём, что он, по крайней мере, толстокож и маломозгл. Тем не менее, меня задела эта его снобская жизненная «проницательность». Я видел таких, как он, на нашей «тусовке», и тут не было ничего для меня нового. И однако коробило это его удивление, что я не таков, как он, хоть быть таким, как он, это — разумно, понятно и должно происходить с каждым мужчиной автоматически по мере взросления. Стало быть я — недоросль. А поэтому будем сидеть рядом с недорослем и флегматично ждать, когда наши потенциальные жёны оттанцуют свою неизрасходованную «пялельную» энергию, чтобы послезавтра обмотать их в лицемерную, естественную фату и сделать их предметом «пяления», иногда, «по-женатски», «пяля» параллельно ту, собственно, которая уже есть и для этого «пяления» в полной, раздольной мере и предуставлена.

Глядя на дискотеку, я думал о том парне, что сидел на подоконнике слева от меня. Он и его (простая?) ложь не возмущали меня; и уж тем более я не завидовал ему и не прикипал сердцем к его банальному учению. Ну хорошо, думал я, парень решил стать многоженцем. Но Таню, судя по всему, он не любит (равно как и ту спрятанную и на всё согласную удовлетворялку), он — этакий шах (и мат), альфа и омега: ему дана жизнь исключительно для того, чтобы честно, «доброжелательно» (!) и безобидно обманывать всяких дур и быть и оставаться накаченным шахом (и поставить, в конце концов, мат жизни). (А я тут, блаженно-тупой, сижу одесную его, и, глядя на весело и привольно танцующую возлюбленную, что-то там мелко копаюсь с бестолковыми, неразвитыми пешечками).

Я удивился, что на той дискотеке ставили Depeche Mode 82 года. Песню My Secret Garden — не самую, на мой взгляд, сильную композицию с того альбома. Дискотека была небольшая, «безобидная» и, кажется, бестолковая.

Я не выдал Таниного хахаля. Ничего не рассказал ни Тане, ни Дине. Скорее всего, этот «накаченный» стервозник рассчитывал на закон мужической солидарности, так, с ходу, откровенничая со мной. Не знаю. Во всяком случае, мне казалось, что Таня всё вполне чувствует, даже если не знает; следовательно, идёт на всё это безобразие осознанно и даже почему-то охотно. «Ну и пусть!» — думалось мне.

Они и впрямь поженились через достаточно короткое время. От Дины я периодически узнавал, что «там всё нехорошо». «Он изменяет и бьёт Таню».

(«Она же знала! Знала!» — уверенно думалось мне.) Я жалел Динину подругу. Особенно после того, как однажды повидался с её папой. Таня зазвала нас тогда на что-то вроде пирога. К себе, в девятиэтажку. То было ещё до Таниной свадьбы. Танин папа был звучен, просторен, душевно-толст и оптимистичен. Любовь к простоте жизни и добродушие (вполне-себе, казалось, умное, хоть и не чрезмерно мудрёное) так и пыхали, так и пыхали из него. Он был чем-то сродни Толстовскому герою — незадачливому отцу Наташи Ростовой на этакий советско-простяцкий манер. Дину, когда мы пришли на пирог, он приобнял за плечи заботливо, по-дружески-отцовски, балагурно при этом труня (Дина принимала с понимающей ухмылкой, — кажется, её отец не был таким вот простяком-добряком.) В мои же глаза, плотно-восково сжимая мою руку, он смотрел радостно, хитро́-приветливо, обезоруживающе напрочь — вплоть до маленькой оружиеподобной волосяной иголочки.

Хотелось улыбаться и без конца шутить с ним и воспринимать с радостной благодарностью его балагурения. Дину я почти никогда не ассоциировал с её родителями, не видел в ней никогда ничего мамино-папиного. А тут — всё на ладони. Танин папа был простодушен, весел и задорен. Таковой мне всегда виделась и Таня. Я, конечно, по-снобистски, ещё в школе, усматривал в этой её задорной развесёлости некую простяцкую недалёкость, но, познакомившись с Таниным папой, понял, что весёлость Тани — цельная, радостно-наследственная.

Тем более жалко мне было, что вытворил с ней этот подло-пошлый позднесоветский гедонист.

Танину маму я вовсе не знал. Но ведь что-то в Тане было и от неё.

Возможно, эти дворовые, затемно, девчачьи советы-шепталки несли к нам, на диван, всегда что-то новое, что-то прознанное, искристое. Иначе строгость Дининой мамы и аморфность папы, думаю, сгубили бы на корню многое из того, чем я упивался на нашем энигмовом ложе под Басиным строгим взглядом.

Например, усвоив статичную позу на правом фланге дивана, я, в некий момент, когда Дина только-только перемотала заново Энигму, поймал возлюбленную возле письменного стола. Мы стали целоваться стоя. Когда католический хор закончил свое вступление и взбарабанили барабаны, давая гармонично место мелодичным рожкам, я легонько надавил Дине на плечо, сообщая ей робко-уверенную крутящую энергию. Дина не только не воспротивилась, а повернулась охотно, как будто ждала. Я погладил-надавил ей между лопаток, и она чуть-чуть присогнулась, в длинном, ворсовом, но и мягком халате, туда, к углу, где недавно сидела Бася, глядя на нас со своим вечным настороженно-удивлённым, диким упрёком. В окнах был ещё вечерний июльский свет. Энигма одобряла, делала происходящее не только ожидаемым, нужным, но и эффектным. Не то что эротическая поза «зад женщины к половому органу мужчины» воспринималась мною сугубо запретной и сугубо вожделенной (хотя в испоганенной видеосалонной порнографией коре затылочной доли моего мозга данный концепт отчётливо присутствовал), я, скорее, надсадно и скомканно переживал: а не воспротивится ли возмущённо моя

возлюбленная (с её заветами) такого рода «похабству» и не заклеймит ли меня извращенцем. Но нет. Дина не воспротивилась, ответила, приветила, хоть я и не видел её лица и не чувствовал в тот момент её поцелуев. Я сделал так, как видел делают в видеосалонном кино. Я прильнул своим жёстким джинсовым пахом в её мягкой халатной межъягодичной складке и произвёл некие поступательные в вертикальной оси, скользяще-прижимающиеся движения. Дина опиралась руками о спинку дивана, и, я видел, Энигма охотно позволяет ей и это. (Вытворять со мной.) Я остановился. Мы вместе, единым духом, присели боком на диван лицо к лицу и нашли-упились губами друг друга. Потом Энигма усадила нас так, как Дине и мне уже было привычно.

1.4. Человек

Повторюсь, что тогда, в июле и позже (а может быть, и во всю ту историю и даже доселе), Дина так и не очеловечилась для меня в полной мере. Конечно, меня раздувало изнутри чувство гордости за свою такую неожиданную богоизбранность, как будто я чем-то это заслужил. Но та, которую я так долго и безнадежно любил как богиню, оказавшись буквально в моих руках, не сделалась от этого человеком в одночасье. Просто она поменяла облик и теперь явила мне таинство божественной плотской любви, что простые люди, я понимал, конечно же, давали друг другу всегда и везде, но в моём случае это не могло быть простым и человеческим. Я был причащён к божественному таинству. И всё «человеческое» в Дине, что порой резало глаз, я неизменно воспринимал сквозь эту призму.

Например, однажды, лёжа на её коленях, я внимательно рассматривал её руку, ту-самую, о которой Юрик Стеблов год назад, на «тусовке» с брезгливостью отзывался, что она «сухая, такая, как будто постоянно ею кошку мацаешь». Нет, рука Дины не была сухой. Но меня вдруг кольнуло другое. Ладонь. Рисунок линий. Слишком много линий помимо трёх-четырёх основных, глубоких и беспорядочных, как сеть. На меленькой, странно-розовой ладони. До испуга: не по-человечески; уродливо? (божественно?).

В какой-то из наших вечеров я переместился в середину дивана, а Дина сидела рядом справа и рассматривала свои ноги. Вытягивала их вперёд и наклоняла голову то вправо, то влево.

— Как тебе? — произнесла она задумчиво и отрешённо. С такой степенью отрешённости, что как будто бы и не так важно, что́ я отвечу.

— Что «как мне»? — сделал глупую извилину я.

— Ноги...

— Что «ноги»?

— Прямые?

Я не видел в Дининых ногах никакого особого изъяна. Возможно, голени слегка круглились-уходили-в-бока по отношению к строго-вертикальной оси. И это было заметнее, когда она вот так, искусственно, вытягивала их под электрическим светом, сидя рядом со мной. (Позже, гораздо позже, Шигарёв громыхнул в меня со своей вечной правда-маточной откровенностью: «Да ты что, Гоня! Там варус конкретный!»). Но мне было всё равно. И странно, что моя богиня — вот так придирчива к своим ногам.

— Я, Дин, не разбираюсь, — сказал я.

Но Дина как будто и не слышала. Выговаривала сама себе:

— Мммм-да. Ну может... Н-нннет. Прямые. Прямые ноги.

Опустила ноги вниз. Повернулась ко мне:

— Поцелуешь?..

И я тянулся к её губам.

В другой раз я спросил:

— А это что такое? — указывая на странный кожаный предмет на манер широкого пояса с рядом утягивающих ремешков.

— А, это *так*, — Дина поторопилась снять необычную штуковину со спинки стула и убрать в шкаф, — для формирования талии.

— Ммум, — мумкнул я не то с уважением, не то с сомнением, — и как, эффективно?

— Смотри! — Дина повернулась ко мне спиной в танцевальном движении, слегка изогнув стан и проводя ладонями плотно по бокам, делая честные, дельфиньи волны на бёдрах.

— Да уж. Хочешь сказать, весь этот эффект из-за той штуки?

Дина бухнулась рядом на диван слева от меня. Сделалась серьёзной. Заповедально-наставительной:

— А ты прикинь, носить такое два года подряд. Так себе удовольствице!.. Я, правда, уже редко сейчас ношу.

Я подумал: «наука нравиться»; моя богиня так пошло-предана этой науке. Мужчины любят в женщине грудь и задницу. Ну вот вам — грудь, и вот вам — задница. Что? Недостаточно круты?.. Ладно, где там мой талиеутягиватель?

Дина приобщала меня доверчиво и интимно к всякому своему дамскому-разному. Например, когда в очередной раз заканчивался «энигматический сеанс», Дина приподнимала верхнюю одежду, поворачивалась ко мне спиной и просила застегнуть расстёгнутый мною лифчик. «На третий крючок, на третий!» — строго руководила она моими медвежьими мужскими движениями.

— Помоги мне надеть серьги.

— А как?

— Просто. Бери серьгу, — вручает мне золотую блестюшку-загогульку, поворачивает в мою сторону ухо, оттягивает мочку. Я напряжён.

Дина нетерпеливо тянет меня за руку:

— Ну чего ты? Не бойся.

Проткнутая мочка. Немного шершавости у верхнего края отверстия. Я двигаю золотым изогнутым прутиком и у меня получается. Дина протягивает мне вторую серьгу. Бесстрастно, по-деловому.

Дина использует какой-то наивный «полублатной» сленг. В виде шуточных прибауток. «В натуре рыбьи уши». Или. «Поздняк метаться».

Когда шутит про себя, использует этакий игрушечный мультяшный, чуть скрипучий голос. Когда, например, говорит: «А мне медведь в детстве на ухо наступил». Впрочем, моё пение песенок под гитару она воспринимает, кажется, благосклонно.

Вообще, Дина чувствует юмор. И пользуется им. Хотя он и не вполне глубок. Сам я в те времена тоже маловато смыслил в тонкости и изяществе юмора и иронии. Во всяком случае, в кинотеатре «Искра» на сеансе чёрной американской комедии «Уикенд у Берни» мы оба буквально лежали под стульями от тетануса брюшных мышц и изнеможения от смеха (как, впрочем, и весь зал). (К слову, когда я лет семнадцать назад решился с сыном пересмотреть этот фильм, он вовсе не показался мне смешным, — скорее напросто отвратительным.)

Дину же тешили разного рода невыдуманные истории-нелепости. К примеру, она рассказывала:

— Мы как-то сидели с Таней напротив школы. По дорожке мимо нас идёт женщина. Одета так классно. Вдруг у неё прямо на ходу падает прокладка!

— Что?

— Ну женская прокладка, прикинь!

— Да уж. И чего?

— И она просто. Идёт. Дальше! Даже не притормозила. Как ни в чём не бывало! Умора... Я бы так не смогла. Я бы покраснела, не знала куда себя деть от стыда. А эта: с сумочкой, строгая такая. Идёо-от вперёд. Как будто, так и надо.

Смеюсь вместе с Диной.

Разглядывая фотографии, где я заснял её в Ленинграде, Дина их брезгливо откидывает:

— Фу, какая безвкусица! Бусы уродские, каре какое-то убогое, завитое. Как тебя только угораздило влюбиться в такую?!

Сейчас Дина носит волосы с зачёсом со лба назад, сзади скрепляет их крабом или простой заколкой; распускает их только во время наших диванных забав. Дома она в халате, или в рубашке и коричневом трико, очень плотных по её попе, мягких, вожделенных. Вот она включает настольную лампу, рядом с пластмассовым ёжиком, держателем ручек и фломастеров и говорит мне, чтобы я посидел немного на диване, а ей надо поучить кое-что в высшей математике — какой-то нужен глупый летний реферат-нереферат. Сижу. Смотрю на неё, на её странную, в общем-то идущую ей училковую серьёзность. Комната темна, только её настольная лампа, бьющая в стол, в её тетрадь с конспектом и учебник. Из зала глухо и беспечно по отношению к нашему уединению в Дининой комнате слышится телевизионно-родительское бу-бу. Осторожно подхожу сзади, как будто под предлогом посмотреть через плечо, чего она там учит. Огибаю потихоньку ладонями со спины, под мышками и — на грудь. Без лифчика сегодня. Груди под тонкой тканью рубашки воспринимаются особенно магнитно, влитыми в ладонь. Кладёт громко бутафорскую ручку. Привстаёт. Опирается на сиденье стула только одним коленом, позволяет играть с её грудями. Поворачивает ко мне губы. Взасос. Тянусь рукой к её попе, которую так плотно обтягивает это коричневое, шерстяное трико. Страсть. Частое дыхание. Меня распирает огромность и власть этого жаркого тяготения тел; всё тело Дины приветствует мои руки, без всякой даже Энигмы. Что-то волшебное. Мне показалось тогда, что и реферат этот, и лампу, и коричневое трико она придумала для просто нового: чтобы я вот так подошёл, обнял её сзади и стал ласкать. Вряд ли простой человек способен на такой обман.

Играем в шашки на полу. Вижу — старается, серьёзная. Опять на ней — ковбойская клетчатая тонкая рубашка, зелёная с красными тонкими полосками, и коричневое трико. Нижние концы рубашки завязаны в узел на животе, высоко, так, что виден пупок. Сидит на коленях, попой к пяткам; локоть упёрт в диван, ладонь поддерживает задумчивую щёку. Уже видно, что я выигрываю, но Дина сражается до конца. С последней шашкой, которую вот сейчас съедят, выдерживает длинную паузу. Вдруг — резко ладонью кругом перемешивает шашки на доске. Лицо — шутливо-злое. Смеюсь вначале, потом — моя челюсть тянется вниз, к полу. Дина быстро развязывает ковбойский узел и последовательно и быстро расстёгивает четыре пуговицы от шеи до живота. (Мы не договаривались, что будет за проигрыш; это — её почин.) Груди с каждой расстёгнутой пуговицей всё более и более выплывают наружу. Но Дина не даёт им полностью освободиться — оставляет так — в обрамлении ковбойских клеток. С лицом её происходит нечто и вовсе умилительное: она смущённо-виновато-покорно, с шутливым волшебством и осознанием своей всегдашней победы с такими вот своими про запас козырями, опускает вниз глаза. Так неуместно, киношно и пряно, мол: ну что ж, проиграла, ничего не поделаешь, — забирай, раз так, свой выигрыш, злой мальчик... Я ползу бегом на коленях по колюще-режущим, ввергнутым Дининой ладонью в хаос, шашкам. Туда, туда, к её неописуемым, живым грудям. Лицом. Лицом к ним, купаться!

— Это я, — показывает детскую фотографию. Девочка в снегу. Года три-четыре. В клетчатом пальтишке, некрасивая. Ножки и правда, как будто бы кривоваты. С игрушечной лопаткой ковыряться в снегу.

Тыкаю пальцем в ножки.

— А тут да, кривенькие ножки-то.

— А потом ещё у меня астму нашли. И поэтому на бег отдали. Чтобы астму лечить и ноги выпрямить.

— Ты красиво бегаешь.

— Знаю.

— И ноги у тебя прямые.

— Ну, не совсем...

— Прямые.
— Ладно.

Странны её воспоминания о 12-й школе. За чаем однажды. Она приносит чай на подносе прямо к нам в комнату, и мы пьём его со сладостями. Каким-то образом вышло на историю с Маслухой, про то, как он удрал тогда в Ленинград на полгода. А Дина каждый вечер ходила к его маме её успокаивать и сидеть с ней. Лицо Дины во время рассказа делается трагически-жёстким, едва ли не до злости: «И умудрило же меня перевестись в вашу школу деревянную!» Действительно, злая; почти ненавидящая. Что-то так сильно вколотилось в её душу вместе со всей той историей с Маслухой. Так и сказала про школу: «деревянная», как будто её родная 3-я из какого-то другого материала сделана. Вслушиваясь в этот её нескрываемый, раздражённый трагизм, я начинаю ревновать и делаюсь тоже жёсток и задумчив. Ведь если Маслуха своим «мужественно-идиотским финтом» так перевернул её сердце и так заставил страдать, то насколько в её глазах мизерен я со своей детскостью, невнятностью и единственным достоинством, как оказалось, — более-менее гармонично-треугольной спиной. Даже начинаю злиться, как и она.

Но вдруг она как по щелчку меняет настроение. Вспоминает, как впервые пришла в 9-й «Б», а там какой-то маленький парень кругами бегает, как шестиклассник. Это же Лёха Бармаков! И Дина толкает меня в локоть, мол, давай смейся вместе со мной: помнишь какой Бармаков был смешной — дурачка вечно из себя корчил!

Мне не смешно. Если я и улыбаюсь, то только из тактичности, чтобы быть в гармонии с её настроением. Мне совсем не близок Бармаков, я не нахожу в нём ничего смешного. А главное, меня удивляет, как легко она относится к нему, вспоминая о нём, при том, что и с ним она «была», кажется, довольно много времени, — целовалась взасос и прочее...

Как её понять, богиню мою: не добившийся от неё любви парень вызывает злость, а добившийся — весёлый смех? Про Стеблова молчит. А я не спрашиваю. Впрочем, она вспоминает про Маслуху кратко, с пренебрежительным неудовольствием:

— Заходил тут как-то. «Дружбу» предлагать... Но я его не люблю.

К моим друзьям она расположена по-разному. Очень уважает Венчука. «Классный парень!» На Шигарёва сомнительно гнёт кверху губу. Вестницкий — тёмная лошадка. Про Ярославну молчит, как и про Стеблова. Только про Стеблова молчит как-то заветно-затаённо-зловеще-захоронено. А про Ярославну — может быть, ревниво, мол, слишком много внимания к ней. «А из этих ваших десятиклашек... Как её?.. Выпендрёжная такая», — щёлкает пальцами. — «Ну как?..» — я не подсказываю, предчувствую, что она имеет в виду Ирку Никитенко. — «Не люблю её». (Я вспомнил, как Ирка мне, пьяному, говорила, что хотела бы подружиться с Диной. Вряд ли, выходит, подружились бы...)

Походы. Нет уж. Дина никогда бы не стала ночевать в палатке. Это — не её. Да, Дина — неженка. Например, мама до сих пор моет её (представить только!)

Я говорю Дине, что полюбил походы. Ну что ж. Будет меня отпускать, раз уж так. Это, по крайней мере, не курево.

Дина опять нарушает свой же завет. Теперь насчёт готовки. В очередной раз, когда я прихожу, угощает меня «безешками». Сама утром для меня сделала. Мама совсем не помогала. Безешки — это довольно просто. Надо только отделить желтки от белков и вспенить белки с сахарным песком. Вкусно. Одна проблема: выпекаются они на бумаге, и вот — бумага пристала к их низу. И — не отдерёшь. Я ем, хвалю, говорю: ум-м-м-м. Вот только и правда не знаю, как поступать с этой бумагой: глотать — как-то не очень, выкладывать на поднос сжёванную — ещё хуже.

Однажды мама Дины приглашает меня поужинать на кухню. Пытается раскрепостить, хотя и не особо надрывно. Услужлива, но и не чрезмерно хлопотлива. Еда показалась мне несколько безыскусна: колбаса двух видов, много майонеза тут и там, некрасиво нарезанный хлеб, слишком жирная курица. Моя мама обычно делала беф-строганов, а колбасу и майонез мы никогда не брали, — вечно блюли какую-то диету, так как папа страдал желудком: завод и сначала бессмысленные коммунистические пятилетковые планы, а потом затягивание зарплаты на заводе доканывали его.

С родителями Дины у меня выходило как-то натяжно-официально. С папой мы, кажется, взаимно стеснялись друг друга; я видел и слышал его крайне редко. Мама же стояла каждый раз за спиной у Дины, когда та открывала мне дверь и впускала в дом. Мы вежливо здоровались, после чего мама сразу же уходила в зал, а я, раздевшись в коридоре, юркал к Дине в комнату, и Дина прикрывала за нами дверь. Также и когда покидал дом: из зала показывалась мама, доходила до середины коридора и оттуда — шага за четыре до нас — говорила приветливо:

— До свидания, Игорь. Приходи ещё.

— До свидания, — скромно говорил я и уходил.

Мама Дины, как я понял, работала бухгалтером на фабрике Фрунзе. Была среднего роста, моложава и довольно стройна. Лицо — совершенно не похоже на Динино. По лицу и по тому, что спрятано за ним, трудно увидеть: почему она до сих пор позволяет себе мыть восемнадцатилетнюю девицу. Но, видимо, строга. Помимо заповеди: «Дина, будь осторожна!», непросто было и с разрешением на пользование косметикой. Моя возлюбленная признавалась: чаще всего краситься приходилось в последнюю секунду перед выходом из дома в школу: «чирк-чирк, пока мама отвернулась, — и побежала!» (смеюсь с ней). Наверное, по неким меркам, Динина мама была красавицей. Возможно. Меня только всегда поражала её страшная одышка, когда она поднималась на пятый этаж. Взбиралась она медленно, в одном темпе, без остановок, но дышала часто и шумно. По конституции она вовсе не походила на «сердечницу», на бронхиальную же астму это было совершенно непохоже по клинике.

Посещать туалет, будучи в гостях у богини, я стеснялся. Лишь однажды сделал попытку, но помочиться так и не смог, несмотря на переполненный пузырь. Поэтому выходя в ночь из Дининого подъезда всегда первым делом искал, где бы «встать». Это было непросто. Несколько раз ничего не оставалось, как излить струю в соседнем подъезде. Потом я искал идущих навстречу, уже редких в столь поздний час пешеходов, чтобы «стрельнуть» сигарету. В те годы это было нормой. Подходишь к человеку: «Угостите, пожалуйста, сигаретой!» — и тебя обычно угощали. Из-за длительного перерыва в курении кровь бросалась в голову, и голова кружилась. В вечерней прохладе. «Двойка» после одиннадцати вечера уже не ходила, и я всегда шёл домой пешком. Уже к кольцу Афанасьева выбрасывал окурок, засовывал обе руки в карманы, шёл скукожась. Думал. Осмысливал новую жизнь. Иногда оборачивался на огни домов. Когда-то я смотрел на эти вожделенные огни богини, смотрел, смотрел; они тихо беседовали со мной на их электрическом языке, гипнотизировали, и мне было сладко, волшебно и безнадёжно. А сейчас... Сейчас я проник в их нутро, в их царство. Превратился в электрическую змею и прополз. И теперь вот, каждый вечер. Прихожу засветло, богиня моя садится ко мне на колени, и мы под «Энигму» ласкаем друг друга, ухожу в темноте, чтобы курить стрелянную сигарету и думать-гадать: кто я теперь?

Однажды Дина встретила меня с печально-тревожным лицом.

— Что случилось?

Молчит. Смотрит влажными глазами. Ждёт, пока я сниму обувь. Молча провожает меня в комнату. Закрывает дверь. Оборачивается и просто обнимает меня. Прижимаю её к себе. Глажу тихонько по спине.

Поднимает глаза. Слёз ещё больше.

— Я тебя люблю. Очень сильно.

— И я тебя люблю.

— Ты вчера ушёл, и мне стало так тяжело...

— Почему?

Пожимает плечами. Молчит. Жду.

— Ты ушёл, а я подумала: ты не должен уходить. Почему ты должен уходить? Я долго стояла у окна, представляла, что ты где-то там идёшь. А почему идёшь от меня, а не ко мне?..

— Но ведь я когда-нибудь не уйду.

Дина энергично закивала, всхлипывая, упираясь мне лбом в грудь.

Я сажусь на диван. Она устраивается ко мне на колени в этот раз боком, я кладу замок ладоней к ней на плечо и укачиваю. Она вытирает слёзы, и вот — уже улыбается. Даже смеётся.

Мы не включаем Энигму. Она разворачивается ко мне лицом, как всегда. Только в этот раз наши интонации особенно нежны. Я не лезу к ней ни под какие резинки. Мы лишь целуемся, не глубоко, как будто разговариваем губами, гладим плечи, прячем пальцы в волосах. Нежно. И только.

Когда в этот раз я ухожу, Дина снова делается грустной.

Мама говорит мне:

— До свидания! — и уходит в зал.

Мы тихонько целуемся в коридоре. С каждым поцелуем Дина делается всё более серьёзной и даже мрачнеет.

— Ну что ты? — шепчу я.

— Пойдём, — Дина выводит меня на площадку в подъезд, надевает тапки и выходит за мной.

Смотрит на меня жёстко и говорит вполголоса.

— Обещай мне, что не бросишь меня!

— Да ты что?! — возмущаюсь я. — С чего ты взяла?

— Обещай! — повышает она тон.

Из-за двери голос мамы:

— Дина! — зазывно.

Дина приоткрывает дверь:

— Я сейчас, мам, — закрывает.

— Обещаю, конечно!.. Я же тебя люблю.

— Смотри, — уходит.

С чего бы?.. Как будто вот теперь всё стало серьёзно. А до того — все эти поцелуи, Энигма — так, шуточки...

Подходя к кольцу Афанасьева, выбрасываю преступный окурок — я ведь обещал Дине, что брошу курить, но, давая обещание, тут же про себя решил, что буду её обманывать — «ну, потому что это глупо!» — думалось мне.

Оборачиваюсь на её огни. Значит, она там сейчас стоит у окна и выглядывает во тьме и аморфных огнях, что, вот, где-то *там иду я* (как Кинчевский стерх). Как когда-то я стоял и смотрел... Выходит, я стал богом, а она — человек?.. Нет, что-то здесь не так. Она — моя богиня и останется ею! Бреду домой.

1.5. Первая разлука

Потом, в июле же, случилась наша первая разлука. Летняя студенческая практика. Мне — в 5-ю горбольницу санитаром, Дине — к детям в пионерлагерь. Мне — санитарствовать, ей — вожатствовать.

Я не скажу, что та разлука была чем-то, воспринимающимся мною как утрата и тоска. Возможно даже, то был необходимый перерыв для моего вечно алчущего самопознания. Задать себе вопрос по поводу всей этой Энигмы: что это было? и: где я сейчас?

Перед Дининым отъездом мы прогуливались почему-то по Дзержинского, от автовокзала к центру, и Дина со смехом повествовала мне, как она с однокурсницами посещала гинеколога в рамках медосмотра перед лагерем. Смех её был истинно, безоглядно весел, хотя где-то глубоко я и улавливал в нём спазмированную, спрятанную напряжённость по поводу концепции: девственница - не девственница.

Дина рассказывала, как зашла первая девчонка, и по выходу все налетели на неё: мол, что?? Бравая Динина однокурсница ответила: спрашивает «живёшь или не живёшь?». Все безмолвно ахнули. Вошла вторая. Выходит. Все к ней: что?? И та тоже: точно, спрашивает: «живёшь или не живёшь?». Ладно. Понятно. Динина подруга подходит к ней и говорит: я буду отвечать — живу! «А ты что, живёшь?» — спросила её Дина. «Живу!» — ответила, смеясь, подруга.

Я слушал, идя по Дзержинского, всё это молча, улыбаясь. Девочкины девственно-взрослые, смешные проблемки, замазанные лёгким смехом. Мне представлялось: вот, выходят они, каждая, в белый свет со штампом в пионервожатском бегунке, и у каждой назойливая мысль: «вот, я — девственница», или: «вот, я не девственница». И это для них важно. Это составляет их самопознание. Как для меня моё назойливое: кто я?

Потом Дина уехала на две недели, а я отправился в «пятёрку». Мне прояснили, что медик должен очень чётко понимать: какое количество маточного раствора («маточного», хм) хлорной извести необходимо взять на ведро, чтобы вымыть пол в больничке. Чтобы убить всех потенциально зловредных синегнойных палочек.

Мы проходили практику вдвоём с Витей Овсяником (по прозвищу «Пряник») из 9-й группы. 8-я группа поразъехалась по родным городам, и каждый где-то там отдельно, в своих н-ских больничках, постигал великое искусство приготовления маточного раствора.

Родина же Пряника оказалась далеко, вероятно на Украине, и он остался на лето в 1-й общаге и проходил санитарскую практику тут у нас, в К... . Пряник этот был мощен, широкоплеч и бел. Надменно бел и надменно мощен. Впрочем, и странно прост. Без всякой почти человеческой изюмины.

— Поедешь в колхоз? — спрашивал он меня.

— Да, — отвечал я, — поеду.

— С бабами «повеселимся», — говорил Пряник флегматично, самоуверенно ухмыляясь. Мы сидели на солнышке, возле оврага, с южной стороны «пятёрки», куда устремлены окна палат.

Я пожимал плечами. «С чего бы», — думалось мне, — «этот Пряник так уверен в своей и «нашей» неотразимости?» Про себя я мыслил: если мне, предположим, подойти к каждой из девяти девчонок 8-й группы и в лоб предложить совместное «веселье» ... Нет. Даже не мыслится так. Тем более, у меня есть Дина, — *зачем* мне?.. Пряник же, видимо, смотрел на жизнь, в целом точно так же, как Танин хахаль: женщины — суть податливые, пластичные удовлетворялки нашей похоти, никак не больше. Незатейливая философия Пряника мне претила, хотя и было интересно: а что? — вдруг и правда наши девчонки «созрели» настолько, что Пряни-

ково «веселье» для них тоже — что-то вроде вожделенной цели?.. как это будет выглядеть со стороны?

На сей раз, просветил меня Пряник, в колхозную команду объединят-соберут 6-ю, 8-ю и 9-ю группы и отправят куда-то под Верхний Прокопьевск, чисто на картошку. Шестая — это та, в которой учился Вестницкий, пока не вылетел. Я помнил Петю Сорокина, что фальшиво пел «Рок-н-ролл мёртв», а также загадочного Андрея Крайнова, того-самого, из альтернативных поклонников Ирки Никитенко. 9-я группа была мне не знакома, и, кажется, Пряник собирался представлять её в колхозе всецело собственной персоной.

В две недели без Дины образовался некий вакуум. Вакуум не то что любви, не то что собственной целостности, а вакуум целостности мира, целостности жизни. Я предвкушал встречу остро, пряно, рьяно, въедливо, — без тоски, но с восторгом. Она — моя. Дина. Она возвращается из своего пионерлагеря, и она по-прежнему — моя. И тоже стремится ко мне...

Я опять купил розы. Теперь — не такие молодые, не такие равномерные и свежие. Не у зеленоволосой, спрятанной в летний сумрак цветочно-площадно́го киоска дамы (не помню, где я их покупал).

Мы созвонились, и я пошёл. С цветами. Встреча — почему-то за Таниным девятиэтажным домом — там, где вид на шиповниковое поле и фабрику Фрунзе. Пасмурно. Я близорук, и она близорука. И мы идём навстречу друг другу по длинной, метров в двести, полупешеходной асфальтовой узкой дорожке под стеной тыла Таниного белокирпичного дома, вытянутого куда-то в глупую советскую перспективу. Справа — молодые балдахинные, с испариной рябинки, слева — шиповниковое поле. Сближаемся. Вижу фигуру в том конце, но не уверен, Дина ли это? — зелёная летняя курточка, распущенные волосы. Сближаемся. А вдруг не она? Будет странно, если я вручу какой-то незнакомке розы... Прячу букет за спину. Подходим совсем уж близко, но я по-прежнему не узнаю её. Да нет, это не она! — слишком прямо и независимо вышагивает, как будто знать меня не знает. Так и проходим мимо друг друга. Кошусь, рука с букетом за спиной. Нет! — всё-таки это Дина! (Но притворилась, будто не знает меня, устремляется мимо). Протягиваю баскетбольную, пластилиновую руку и ловлю её. За живот. Разворачиваю к себе. Она даже не смеётся — задыхается. Вместо того, чтобы поцеловать, вынимаю из-за спины букет — держи любовь. Отстраняет — ей не интересен букет. Сливаемся. Влепляемся друг в друга. Я смущён: превратилось ли в шутку то, что я не узнал её (а я ведь и правда не узнал её до последнего, мимопроходящего момента!)? Кажется, если у неё и были сомнения — шутливые или нет — она сразу простила. Я — на коне! Я на коне для неё. Прошли две недели, а она снова готова прильнуть ко мне. Даже не поцелуем, а всем телом. С размаху. Вляп!!.

Потом (всё-таки это улица!) — разлепляемся. Берёт у меня цветы, и молча, пряча в себе скромно свои глубокие вдохи-выдохи, идём в сторону проспекта Фрунзе, мгновенно пьяные, пытающиеся переварить и снова понять нашу любовь. Я немного ошарашен и этой нашей молчаливой эйфорией, и этой нашей молчаливой самоуглублённостью, как бы вдруг неверием, недоверием. Идём. Молча. Пока не пересекаем проспект и не идём параллельно аллее текстильщиц в сторону кольца Афанасьева. Здесь Дина приходит в себя и начинает живо отвечать на мои вопросы о пионерлагере. Смеётся. Рассказывает случай. Эти её глупенькие детишки (впрочем, такие классные!). Один: идут они по лесной тропинке от отряда к отряду. Дина, как пионервожатая — впереди; а он, этот «один», сзади вполголоса приговаривает: «динс-динс-динс-динс». И Дина смеётся, рассказывая это. Я тоже смеюсь. (Про себя думаю, что главный юмор в том, что детишки звукопародируют вид переливания при ходьбе ягодиц моей возлюбленной! Но не уточняю. Кто знает, на самом деле, что в уме у этих маловозрастных ещё-пока-пионеров?)

Не помню, рассказываю ли я про Пряника и грядущий колхоз. Неважно. Мы снова вместе, рядом. Меня, впрочем, несколько расстраивает Динино довольно спокойное отношение в

этот раз к букету роз — как будто он, букет, утратил оригинальность и любовь моя, таящаяся в его красно-зелёном, шиповатом чреве — уже не та: не так свежа и не так ярка. Я задумываюсь об этом про себя и не то чтобы коплю некое недовольство, а запросто, грудью-почему-то-вперёд лицезрею свое удивление, переливая на воздухе — обычном к-ском воздухе — грани загадочного бриллианта любви.

(Собственно сама история 1)

Поездка в спортлагерь: Сержик с зонтом, Волга, чьё-то ДР. Брезгливость к Конечной.

Тут коротко. И, в качестве вступления-пояснения, — лишь два момента. Во-первых: как будто чем старше, в походном смысле, я становился, тем хуже запоминал детали-нюансы походов. Поэтому, скупо, очень скупо. Во-вторых: как-то даже странно относить данное несуразие к череде эпизодов-историй Походниады. Ну да ладно: прошлый том я заканчивал на чём-то подобном, сугубо для ладности композиции. Вот и тут пусть так будет!

Главное: я потерялся в хронологии. Возможно (что скорее всего), мы отправились тогда в мединститутский спортлагерь ещё до возвращения Дины в К... из её пионерлагеря. А возможно — после. (Только как, в таком случае, я отпросился у неё? — не помню.)

Что касается «недопоходности», ещё тут стоит сказать, что в спортлагерь этот мы ездили в дальнейшем с друзьями каждое лето в виде эдакого разнузданного, невтрамбовываемого в их «спортивную систему» приложения. Приезжали не в самый лагерь, а — вбок, в лесок, с палаткой. Вроде как хиповский независимый акт-проект. И то были — вполне-себе походы. Так что и данное аморфное приключение вполне можно бы отнести в «походниадный» разряд.

О спортлагере. Располагался он (впрочем, возможно, и по сей день располагается) на берегу славной реки Волги неподалёку от посёлка Бережки. Туда отправлялись студенты мединститута под эгидой здорового образа жизни, спорта, студенческого единства; наверное, тоже свободного иногда пьянства, свободной любви, — разного такого, уже отнюдь не относящегося к концепции «пионерлагеря», ибо студенты — уже вовсе не пионеры и не дети. Вовчик Пермяков ещё весной соблазнял меня влиться этим летом в ряды честных спортлагерщиков, но спорт как таковой и, тем более, как стиль жизни никогда по большому счёту не привлекал меня, а всякое лагерное мною воспринималось, напротив, как ограничение и несвобода. Пожалуй, я даже боялся лагерей. В детстве родители дважды отправляли меня в эти логовища вздорных и драчливых пионеров, где просыпаешься с засохшей зубной пастой на лице и в утреннем, дремотном холоде уши скребёт мерзкий, хрипло-визгливый горн. В первую такую поездку со мной случился неукротимый «желчный» понос, и меня пришлось эвакуировать долой. В другой раз, когда я вернулся, родители обнаружили, что я неукротимо же, поносообразно матерюсь. С тех пор они направляли меня на каникулы исключительно в деревню, где и душевный, и физический поносы благосклонно оставляли меня.

Бережковский лагерь был обычен, советск: деревянные бараки, асфальтовые спортплощадки, флагштоки, громкоговорители.

Берман уехал в Тулу, а Вовчик отправился в этот лагерь и тоже некоторые девчонки из 8-й группы. Гикнулся клич: приехать и нам, оставшимся в К... , повстречаться; плюс у кого-то из девчонок намечался день рождения.

И мы отправились. Не помню, кто. Парни. Может быть, я и Шигарёв, хоть тот и был в те дни в «академе» — можно сказать, вылетел (для 8-й группы, по крайней мере). Знаю тоже, что был с нами тогда почему-то и Сержик, тот москвич, из «гопниковской четвёрки» первого институтского колхоза. Тот, что ласкал прибившегося к нам в колхозный барак котёнка и почему-то разыскивал общажной зимой меня, потерявшегося по пьяни после сеанса «Охотников за привидениями» в видеосалоне на Марии Клюквиной. Видимо, Серж вылетел не в ту, летнюю, сессию, а на семестр позже. Почему я запомнил его?.. До Бережков от К... — не ближний путь. Мы куда-то приехали, а потом транспорт прекращался, и нам нужно было идти по запустелой, с вымоинами дороге неопределённое расстояние пешком. И разошёлся дождь. Вокруг: пустынно-зелено-неприветливо, как и всегда на пространствах «лесостепной», «умеренной», с наполовину-трупами-деревнями России. Мимо: случайная, брезгливая грузовая машина. И вот тогда Сержик и сделал этот свой забавный, цветной жест: присел и загоро-

дился от брызг из-под колёс машины зонтом. Он был вовсе не гопником, конечно, а каким-то брошенным, невнятным мажором, в жёлтой, с чёрными, круглыми разводами реггиевой «кубинской» рубашке. И делал эти мажорские, самосохраняющие, аккуратно-вычурные жесты по-московски, тут, в отчаянной провинции, по привычке, спокойно. Мы просто отскочили от брызг, а Сержик загородился горизонтально зонтом.

Потом, я помню, мы шли и шли дальше, зная, что где-то там, в перспективе нашей прямой, грунтовой дороги, в дождливой пасмурности — Волга и Бережковский лагерь, хотя порой, несмотря на знание, уныло сомневались. Лесостепь. Обложной дождь. Может быть, и зонтик-то был только у Сержа. За перелеском — кусочек дикого жилья, пара неприветливых, угрюмых домушек. Двое из нас свернули спросить про лагерь. Барабанили под дождём в окна; никто не открыл. Побрели дальше. У Сержика — мокрая чёлка треугольником, по-гитлерски вбок. Дождь идёт, и мы идём. Просветы, но неуверенные.

Потом нахмуренная степь мелькнула вдруг свинцовой водой над приподнятием. Фрагмент большой реки. Река-свинец: мол, вот, я здесь; и вы, зонтичные, несуразные бродяги тут. Сделалось приятно и нетерпеливо. Мне, пережившему в мае тот длинный-длинный переход к яйле и по яйле, не было занудно и тягостно от пути, — разве что дождь говорил: вот какой я пасмурный, нахмуренный и нелюдимый, — *а вы тут что*, люди?..

Мы стали подвигаться вправо, по-над берегом. Дождь почти перестал, и металл реки под тёмно-синим небом сделался необычайно приветлив, дружен даже отчасти и с Сержиковым московско-мажорным зонтиком и яркостью его рубашки. Потом — тропа, тропа... Замаячили домики спортлагеря. Ввалились к кому-то. Нашёлся и Вовчик, и Саша Конечная, и какие-то другие весёлые наши н-ские девчонки. В уюте радостных бараков. Нам налили, мы выпили, и я, в груде лагерного студенческого собрания, спел. Хотя меня не слушали. Мы только чокались кружками с водкой и радовались своему пасмурно-спортивному у Волги единению.

Я был студентом. Не пришлым, своим. Меня не то что чтили, но ждали. Дождавшись, порадовались. Налили мне водки, набросили одеялко на дождевые плечи. Я сидел на полу, клал мокрую голову на чью-то проваленную кровать. В тесноте, посреди сидящих-голосящих. Впрочем, местные («лагерские») часто переходили на осторожный шёпот: ночами по лагерю ходил Огурец — главный физкультурник, следил за порядком... Ну вот, — те же пионеры! А Огурец — вожатый. Надеюсь, меня не намажут зубной пастой, пока я сплю.

Будучи пьян, я услышал разглагольствования — не только Вовчика, но и кого-то других (кто они были, — я не помню и не знаю) о Саше Конечной. Вот уж тоже! Заладили. Мол, тут, в лагере, Саша с кем-то легла в надежде иметь радость разрешения от бремени не то чтобы даже и девственности, но презрения, а тот, с кем она легла, хоть и был неимоверно пьян (на что Саша, со слов рассказчиков, очевидно, рассчитывала), взял и (анекдотически) повернулся к ней ж...й... История с Сашей напоминала мне историю меня самого, Макса Малькова, Вовки Шахова и прочих пренебрегаемых и унижаемых за что-то, что отличало нас от серости. Я весело соглашался с байками про Сашу, но в душе пьяного существа своего думал: а что ж ей не повезло-то так? — не повезло, как мне: смейся, смейся, сволочь, наружу!..

ПП ?/? (провал памяти в сутко/часах).

История 2. Мишка Государев. Второе озеро. Октябрь 1991

2.1. Деревня

В начале августа я укатил в деревню. Здесь, с каждым новым посещением всё интенсивней, мною ощущался некий личностный диссонанс. «Цивилизация» метала-носила меня в океане затейливой жизни, преображала, вытягивала за волосы куда-то ввысь, сгибала, выкручивала, заглядывала придирчиво в глаза, ориентировала куда-то непонятно куда. Словом, в «цивилизации» я становился всё более осознанным и значимым, структурным. В деревне же я вставал над тихой рекой или тихим прудом, руки в карманы, и гладкая вода говорила мне, подусмехаясь: да ты всё тот же детско-аморфный и бессмысленный — так что не строй из себя невесть кого. То же самое говорили и поля с неизменными коровьими ляпка́ми, и холмы с гудом фермы, и колодец, гремящий внизу ведром, и гамак, натянутый промеж двух лип. Несуразный и бестолковый. Хотя и да, деформированный «цивилизацией» этой мерзкой. И жизнью. С её любовями, дружбами, студенчеством и подобным.

Дед-баба усадили меня за стол. Баба поставила, как обычно, передо мной миску с изобильным курино-овощным, таким густым, что и супом-то не назовёшь. Дед же протянул целую руку к настенному шкафику:

— Что, налить? Выпьёшь?

Я браво, загребалисто махнул рукой:

— Давай!

Дед в лице не изменился, достал бутылку и, наливая нам по стопкам в своей паркинсоновой тряске, но не проливая при этом ни капли, рёк:

— Так значит, на врача учишься?

— Да, дедушка, учусь.

— Ну давай тогда. За врачебное *искусство*! — слово «искусство» он произнёс со своей фирменной, основательной приусмешкой. Эту приусмешку он применял по отношению к некоторым явлениям жизни, видимо, достойным параллельно и восхищения, и сомнения, и внимания, и мягкого подтрунивания, — во всяком случае, значимым явлениям. Например, он так мог отозваться о чтении книг, или попыткам такому недотёпе, как я, заняться неким благородным делом, в котором, по большому счёту, я мало что смыслю — например, рыбалкой.

Мы выпили. Прихлебнули изобильным укроповым, с молодым чесноком варевом. Выпили ещё. И меня прорвало. Я стал рассказывать прародителям о своей учёбе в институте: о преподавателях, предметах, разного рода необычностях — таких как формалиновая нога в анатомичке, нельзя говорить «не знаю», отработках и подобном. Дед-баба слушали умилённо. На дедовом лице я увидел даже нечто для него небывалое: простую, забывшуюся улыбку. Баба Маня, обычно во время трапезы стоявшая возле у печки, изготовясь что-нибудь ещё нам, едокам, «припасти», в этот раз присела по левую руку от деда, изредка отрывая взгляд от высокоучёного рассказчика и взглядывая на деда, с прихохотом вставляла восхищённо:

— О-как!!

А меня несло и несло. Язык говорил, а голова думала: «А ведь я и впрямь сделался взросл! Наврала мне речка! Иначе с чего они вдруг так расслушались? Дед-вон, не дай бог, ещё умильную слезу щас обронит…»

В паузе дедушка Сеня как будто собрался, вернул на лицо свою привычную непроницаемую псевдосуровость, налил нам по третьей (а стопки-то изрядные, как эта порция супа в миске) и сказал, резюмируя:

— Ну что ж, учись, — дело хорошо*ё* надо-думать!

Выпили. Дохлебав суп, дед крякнул, вставая, и отправился наружу, к недоотбитой косе, под черёмуху.

Меня же с трёх-то могучих стопок подразвезло. Влез на велосипед и умчался с нашего холма, на дорогу, почему-то — влево, к Бродкам, пронёсся мимо бетонных, стоунхенджевых остатков бывшей кукурузниковой площадки, не поворачивая направо, к Бродкам, съехал влево, по ухабистому просёлку в поле, к осиновой маленькой рощице, свалился с велосипеда, бросил его плашмя в траву и сам упал ничком в траву. Стал, пьяный, смотреть и слушать. Смотреть в небо: в тянучку, медленную, клубящуюся сине-белую, которую незатейливо, насекомо-жужжащей помехой расчёркивали иногда повинующиеся мягкому, немного знойному ветерку головки луговых тимофеевок, клеверов и диких щавелей. Слушать насекомых и слушать себя, свою вот здесь, в чистом, деревенском поле пьяную, как будто бы «взрослую» суть. А какова она, суть эта?.. — глубоко думать лениво. Вот: на клевер уселась пчела, сказав надо мной своё протяжное жжжжук и оборвав — суетится промеж розовых соцветных столбиков, отсвечивающих в лучах, образованных солнцем и моими смеженными, пьяненькими ресницами; клюёт, клюёт, высасывает нектар свой сладкий, загадочный. Суть. А что «суть»? Вот, лежу пьяный, хорошо! Жизнь не то что остановилась, а плывёт медленно, как вот этот пломбир без сиропа в небе. Плывёт, плывёот… плывёооот. Куда приплывёт? Да неважно. Вот это как раз неважно…

Деревня парализовала меня. Приструнила, как расскака́вшегося, расшалившегося, глупо подбрасывающего на бегу круп дурня-жеребёнка. Кто ты есть?! — Вот, пьяный лежишь. Ну и лежи! (Встанешь когда-нибудь.) Глупость и беспечность вечности. Вечные облака с их гипнотической, бодрствующей плавностью, вечная пчела с её простым пролётом с медовой корзиночкой в лапках к клеверовым в поле островкам. Я, пьяный. Ветерок клонит, клонит на меня эти отстранённые, неохотно бунтующие против моего ничком вторжения дикие злаки. Улыбка жизни. Вон, котята: потешные, за хвостом да за клубком гоняются, а морды у них всё одно — серьёзные. Вот и жизнь улыбается мне сейчас, в этот день, в этот миг, а улыбки не видно: вся её улыбка в моём ленивом хмелю, в том, как соскочила наконец пчела с закачавшейся клеверовой головки: кжжжуууу-у—у———у. А облако. Облако и подавно улыбаться не умеет. Долго лежать вот так. Долго.

Странно, но как будто вот тогда, в деревне, я вовсе не думал о Дине, о себе и Дине. Только смотрел на природу и всё никак не мог взять в толк: как это я «взрослый» и вдруг опять тут — в «детском месте»? (в плаценте?.. плацента — детское место; фу, опять в голове анатомия, глупость какая).

Кстати, на сей раз по дороге в деревню, пересаживаясь в Раздольске с к-ского автобуса на «го́рошный», я зубрил уже физиологию: безобразные потенциалы действия-покоя, с непонятно зачем снующими туда-сюда сквозь каналы мембраны ионы кальция-натрия. Было скучно-надсадно. Раздольская автостанция… Я поднимал глаза от учебника и зрел вокруг: обстановка пыльно-природного советского захолустья. Когда-то я читал здесь книгу Д.Фурманова «Чапаев», а теперь вот зубрю потенциалы действия, чтобы не нахватать отработок и в зимнюю сессию не вылететь (там же ещё «фарма» начнётся, оёёй — как, вообще, можно все лекарства мира выучить за три даже семестра?).

В дни моего тогдашнего пребывания в деревне случились три события: я поймал налима, на меня наплыло внезапно волшебство жизни и развалился СССР. Причём, последнее рассматривалось мною, должно быть, как наименее значимое.

От деревенского безделья я взялся попинывать футбольный мячик на полянке перед домом. Вот и 19-го числа попинывал. Вышел из терраски дед и объявил-поведал, что, мол, в Москве путч. Слово «путч» он произнёс с той-самой как раз интонацией, что и намедни, за водкой, слово «врачебное искусство», — с этакой высокопарно-ироничной, сметáнной присмешечкой в губах. (Что за «путч»?) — да ну! — я махнул рукой и продолжил пинать мяч. «Путч какой-то…» — бам об стенку двора, бам! — я был крайне далёк от политики.

Я продолжил рыбалить. Правда, в августе клёв на реке и канале сделался ленивым и бестолковым, подобным мне, пьяному в траве. К примеру, я с удивлением обнаружил однажды вечером на крючке вяло сработавшей жерлице совсем уж никчёмных размеров щурёнка — с ладонь, жадно сглотнувшего живца, так, что живец этот распирал ему брюшко, делая его едва ли не прозрачным. Теплился летний закат, и я смотрел, хмурясь, на эту насмешку над моей два года назад хемингуэевой страстью. Окуни тоже клевали мелкие, шальные.

Потом вдруг на несколько дней похолодало и нахмурилось, и клёв и вовсе прекратился. Я валялся на диване, окружённый серым дождём и обкормленный быбыманиными из печи колобушками. И разленился настолько, что на два дня оставил жерлицы без проверки.

— А ну, вставай с дивана! — грозно скомандовал мне дед на третий день. — Пошли нá реку!

И мы пошли. В резиновых сапогах, замызганных брезентовых штормовках, в моросящем с небес занудстве. На двух жерлицах живцы сделались смертцами — обездвижились, поблёкли, подёрнулись мутью вечной реки. Видимо, и на третьей жерлице карась издох и как раз этим и приворожил случившегося в норе под берегом налима. Лесу на жерлице размотало едва-едва, и она устремилась не к острову тины, стрелой, по-щучьи, а прямо в берег, под мои ноги. Я потянул и с удивлением выволок на траву странную оливковую крупную рыбу, ни разу мною не виданную.

— О. Налим! — торжественно сказал дед. — Вкусная рыба. Мясо у него красивое, розовое. Придём, покажу, как чистить. С него кожу можно одним разом снять.

— Как это?

— А так. Надрезаешь кругом позади головы и тянешь кожу вниз. Она и слезает, как чулок.

«Надо же», — загадочно гордился я про себя. — «Какую рыбу экзотическую поймал!»

Мы шли дальше. Морось то переставала, то возобновлялась. Тучи облекли поля в монотонную, налимью серо-зелёность. Я подцепил чудо-рыбу за жабры деревянным крюком, понёс вровень со своим правым резиновым голенищем, иногда посматривая на неё, дивясь на её странные, агонально-истерические ужимки. То принимал этот налим форму английской буквы s, то греческой буквы «сигма», и даже его хвостовой плавник прилипал к боку да так и держался прилипшим. То был мой последний улов в тот год.

А волшебство жизни… Как оно наплыло на меня, как коснулась?.. Опять, в нём, в этом волшебстве, не было ни Дины, ни нас с Диной, ни любви — ни той, чёрно-золотой, восторженной, сладко-тоскливой, ни теперешней, ластящейся плотью, жаркой, новой; ни дружбы, ни взрослости, ни детскости. Со мной такое ещё только дважды случалось: курсе на четвёртом-пятом, на «берёзе» ночью, когда мы с Поли текли в байдарке вдоль кострового берега; и ещё — в позднем мае когда-то, примерно в те же дни, — я бродил один во дворах проспекта Фрунзе и вышел к кольцу Афанасьева, и там меня накрыло. И больше с той поры не случалось в моей жизни таких сильных озарений-наплывов.

Я отправился в нашу баню, может быть, в тот же как раз день, когда в Москве случился путч. Баня в нашей деревне маленькая — вечно, как ни старайся, лбом с размаху о притолоку. Жарко. Смываешь лениво мочалкой футбольно-путчевый пот, и потом, в конце — радостно

— раскорячишься на полу, чтобы смочь поднять над собой таз с прохладной водой и —ах-х-х на себя, на голову, ручьями, по плечам, по спине, к пальцам ног.

Вышел в предбанник, в предвечернюю странную свежесть, в сухие берёзовые веники, надел майку, трусы, полотенце вокруг шеи, висит, как часть тела, похлопывает, пока иду, возле пупка. Вышел в предзакатную, тихую теплоту, к лягушкам и птицам. Солнце мелькает в листве южной липы, насквозь, ласковыми, золотыми точками-брызгами. После бани воздух рая врывается в лёгкие утроенно, свободно, расправленно. Откуда во мне столько воздуха?.. Тихо. Притихшая предзакатная деревня. Путча не слышно, ничего не слышно, кроме лени своего тела, лени отпевших уже августовских птиц. Малоподвижность листвы, а воздух рая так и льётся, так и льётся в грудь.

Я взошёл «в избу». Упал на бабушкин диванец, возле прохладной печи. И замолчал-прислушался. Дед в терраске изучает детали путча со своей приусмешкой. Баба на дворе «обихаживает» бородатую, продолговатую, глупую Белку. Не слышно, ни ту, ни другого. Один я. Мухи умерли в мухоморе на тарелочке, возле жбана с квасом. Тихо. Я и жизнь. Тёплая, вот рядом, вокруг. Благодатная. Откуда она?.. У меня она есть. Вот, я чувствую её. В пьяном воздухе в лёгких. Я живу!! Надо же…

Я лежал и улыбался. Лежал долго, и чувствовал свою улыбку всё время пока лежал наискось бабыманиного диванчика. Жизнь. Ласковая. Тихая. С птицами и лягушками после бани. Липнущая к моей простой чистоте. Даже не говорящая со мной, ластящаяся, всеобъемлющая, величественная, гостеприимно и мудро улыбающаяся на мою улыбку.

Я живу!! Надо же…

2.2. Второй колхоз

2.2.1. Разлад

День отъезда во второй колхоз выдался тёплым и солнечным. Загрузились в автобус. В смурной и сурововатой разнородности незнакомства доминировала-таки 6-я группа. На пыльной задней площадке прямо на полу, подпирая спиной рюкзак, развалился с гитарой Никита Некрасов — основательный, мужланистый парень и стал серьёзно и браво исполнять нечто козырное у Высоцкого. Я притулился там же в углу и скромно слушал. Голос у Никиты был несколько гнусав, что, однако, преизрядно компенсировалось мужественностью и солидностью всего его облика: фигуру он имел ладную, широкоплечую, усы — тридцати- а то и сорокалетние, лоб опытный, щёки мудрые, подбородок жизненный. Прочие парни из шестой смотрелись не настолько солидно, но с Никитой держали себя на равной ноге, а потому воспринимались мною каждый наголову старше и опытнее меня. Это вжимало тусклого, молокогубого Игорька ещё больше в угол.

Прибыли в скудную, как будто кинутую деревеньку, километра полтора не доезжая до Верхнего Прокопьевска. Несколько угрюмых рощиц, каждая таящая в своём сердце труп былого жилого дома. Барак. И метрах в ста от барака вдоль дороги назад — избушка. Наш колхозный командир, Александр Алексеевич Агапов, преподаватель с кафедры акушерства, и шестая группа отправились в избушку, мы — восьмая и девятая — в барак.

В суете прибытия Пряник позвал меня на лестницу, ведущую на чердак. Я взлез следом за ним.

— Вот, — сказал Пряник. — Здесь можно заниматься «делом».

Там был матрац, — толстый, могучепружинный, в бело-зелёную полосу и с виду не сказать что несвежий. Пряник расположился на нём, пораскачивался, помял, могучий, что твой тарзан. Лицо его, хитро-простое, уверенное в жизни, высвечивал закатный свет, тихо и монотонно льющийся сквозь чердачное оконце. Я пожал плечами и спустился обратно по лестнице. (К слову, Пряник этот побыл в колхозе дня два-три, не больше. Походив от девчонки к девчонке, принаклоняя шёпотом голову к каждой, и убедившись, видимо, что ни одна из них не собирается лезть с ним на чердак, он уехал.)

Расположились. Погожим вечером вышли всем барачным составом прогуляться в тесамые рощицы — памятники природы, свидетели гибели деревни. В тёплом, ласковом закате. Тут случилось то, что как будто между нами (по крайней мере, между мной и некоторыми девчонками) некая плотная напряжённость. Я сделал попытку развесело общаться, но меня осекли, кажется, кто-то из Фурсиг. В эйфории своей любви я и забыл, что на меня могла скопиться обида — за то, как я повёл себя 20 июня с Маринкой Фурсановой: как я почти развил с ней некую уже почти даже и лапательную связь, а потом, мгновенно, сразу же, как обнаружилась Дина, — весело кинул. Теплота летнего заката и эта грязь обиды и презрения, изливаемая вдруг в воздух вокруг меня посреди неприкаянной могильной рощи, настолько не вязались друг с другом, что мне сделалось мерзко-неуютно. Грязь нелюбви и недружбы вдруг ощутилась мной столь интенсивно, что как будто бы и сама природа в прелести тепла заката странным образом озлобилась на меня. Я и тут пожал плечами. Хотя сделать это было труднее, нежели давеча с Пряником. А что тут ещё сказать или сделать?

По возвращении в барак я выставил на тумбочку чёрно-белую фотографию-портрет Дины. (Дина обычно получалась на фото плохо, но тут была хороша.) Я сделал это и из гордости, и из любования и собой и своей любовью, а может быть даже — из протеста. Потом сел и написал своей подруге письмо. Просто вылил на листок бумаги текст песни Башлачёва

«Всё будет хорошо». «*Как из золота́ зерна каждый брал на каравай*», «*по утру споёт трубач песенку твоей души*» и подобное. Я чувствовал: это не уровень Дины, не уровень Энигмы. Но мне хотелось верить, что в моём нынешнем чувстве есть и высокая поэтичность — ведь по-другому и быть не могло! (Каким образом в том медвежьем углу отправлялись в цивилизацию письма — не помню в упор. Но я отправил.)

2.2.2. Первый день

Утром пришёл Александр Алексеевич, отделил двоих, кто будет готовить для всех на кухне, прочих всунул в громыхая прибывший автобус-грузовик и задумчиво благословил. Автобус-грузовик примчал нас на поле, где нам следовало ждать прибытия картофелеуборочного комбайна.

Мы, скучая, расположились в роще. Парни из 6-й группы были смурны и тугоразговорчаты. Видимо, не спали и всю-то ночь пили — у них, должно быть, институтская дружба ещё не скуксилась. Утром колхозный август нахмурился и, под стать настроению шестигруппников, выдал серое небо и скучную рощу возле молчаливого картофельного поля. Прибыл комбайн и застыл в раздумье. Мы лежали в роще и ждали: что такого придумает комбайн? Но комбайн не шевелился, думал. Думал... Потом взял и уехал. Вместо него к обеду приехала полевая кухня: невидаль 1945-я. Нам полная женщина набу́хала горохового супу в стальные, ушастые бабайки. Мы потребили суп и снова ушли в рощу. Лежать. 6-я группа слегка повеселела. Образовался её некий оратор — Веня Поздняков. С виду он походил чем-то на Измайлова, соседа Якова по комнате в общаге, только более собранный, не такой стекающий всей своей ленивой энергией вниз. Как выяснилось позже, истинная фамилия его была не Поздняков, а Авербух, стало быть — из народа Якова Бермана. Веня этот позиционировал себя как «хиппи», что бы это с его точки зрения ни значило. Он вдруг задал вопрос:

— Слушайте, объясните мне кто-нибудь: каким образом осуществляется лесбийская любовь? Я не пойму...

Возникла пауза. (Мне подумалось: жаль тут нету Шигарёва — вот кто бы на такой вопрос не растерялся и выбурчал бы басом всю нелицеприятную правду.) Нашлись, впрочем, и без Шигарёва. Петя Сорокин (тот, что плохо исполнял «Рок-н-ролл мёртв» в первом колхозе), хоть по виду и был наиболее страдающим от похмелья, не смог умолчать. Приподнял на ладони свою раскучерявую, грязноватую голову и рёк:

— Да ты что, Вень! Как ты не знаешь?!. Берут предметы, продолговатые, пенисоподобные и — вперёд!!

— Да? — не смутился Веня. — Не знал.

— Эх ты, — выдохнул Петя, роняя бессильно снова голову в траву.

— Неужели так просто? — не унимался Поздняков.

— Да, так просто, — из травы донеслось Петино полуспящее.

Потом зашла речь о книге «Лезвие бритвы». Тут присоединились Лена Плотникова и Ольга Альмер, шестигруппницы. Они обсуждали произведение значимо и твёрдо, по-снобистски. Их интеллектуальный говор был столь гладок и отчётлив, что на спину мне просы́пались мурашки от крестца к затылку: во-дают! — думал я, — поистине интеллигентки. Ох!!

Наша надежда, что комбайн не вернётся, не оправдалась. Он вернулся. Половину нас с лопатами отправили копать вбок от комбайна, другой половине — велели взобраться в его высокое, лентопротяжное брюхо, выдали тряпичные перчатки. Комбайн поехал (было уже к закату). Мимо нас на ленте стала двигаться взрезанная и расчленённая земля: камень, комья, камень, комья, картофелина, камень, комья. Наша задача была: улавливать картофелины и отбрасывать в вёдра возле ног. Нудно. Картофель мелкий, бессмысленный. И комбайн ехал

нудно, и земля на ленте ползла нудно: мы ж доктора, мы ж не эти..., — раздражалось безмолвно нам. Работали скупо. Много картофелин уползало вместе с камнями прочь, не подобранных.

После двух проходок туда-сюда по полю лента вдруг встала. И комбайн встал. Какая-то неисправность. Мы сошли вниз.

— Время домой, — глядя на закат, бередили революцию 6-группники.

Спустился на землю злой комбайнёр, исправивший ленту, загребая-махая нам рукой, чтоб мы возвращались. Поздняков и Некрасов в ответ заговорили что-то о восьмичасовом революционном времени. Комбайнёр выматерил их, взобрался обратно в комбайнодвижущую кабину и возмущённо задвигал комбайн долой от нас. Тут с Никитой Некрасовым случился кризис противоречия: революционер вцепился в горло совестливому зомби-коммунисту. Никита поспешно ушагал вдогонку комбайну, уцепился обеими руками за некую скобу, улёгся животом на землю, и комбайн податливо потащил его плашмя по изуродованному полю.

— Ну всё-о-о-о, — закатил глаза и голову ввысь на Некрасова стойко-революционный Поздняков, мол, не надо нам тут этих Некрасовских сопливо-мужественных штучек. Комбайн ехал и волок распластавшегося в неопределимом вопле Некрасова ещё метров сорок, покуда он не отцепился безвольно.

На сём бунт закончился. Комбайн уехал, следом мгновенно примчался автобус-грузовик и вернул нас в барак, а шестигруппников — в их избушку.

После ужина Яков сказал мне:

— Ну что, берём гитару и пошли в шестую группу. Говорят, у них весело...

И мы взяли гитару, водку и отправились...

2.2.3. 6-я группа

Мы шли по тёмной тропинке в прохладе августа. Окошки в избушке светились. Изнутри избушка оказалась бревенчато-уютной, сказочной. Электричество скупое, на столе — свечи промеж бутылок, голоса громкие, разливистые; всё — в сигаретном тумане, в прибаутках и взрывах хохота. Этакая 1-я общага на выезде.

Решительно-хозяйский, но и вежливый Яков прошествовал к столу и стукнул о стол дном бутылки: «А вот и мы!» — я за ним худощавой тенью, держу гитару за гриф.

Шестигруппники не то что хлопнули хлопушками во имя нас и нашего прибытия, но приветили радушно-панибратско. Кто-то — кажется, Петя Сорокин — протянул: «О-о-о-о-о, ещё одна гитара!» — «И ещё одна водка!» — добавил Веня Поздняков.

Мы расположились — я спиной к двери, Яков — промеж двух чёрных окон напротив меня. Нам тут же нóлили. Мы хлебнули. «Давайте, догоняйтесь! А то как петь-то будете?» Глотнув и закусив, пережёвывая еду тридцать три раза, по своему обыкновению, Яков спросил в паузе между восьмым и девятым жевком:

— А где?..

— Что «где»?

— ...Александр Алексеевич.

6-я группа мотнула головами в сторону одной из бревенчатых стен — там, за стеной, в комнате с изолированным входом помещался наш колхозный командир, акушер.

— Вы его разве не пригласили?

— Вчера с нами сидел.

— И как?..

Нам с весёлыми смешками наперебой рассказали, как Александр Алексеевич пришёл, скромно сел, пил через раз, ел вместе со всеми, говорил мало; пол-одиннадцатого отправился спать. А наши бравы-молодцы сидели у него под дверью пол-четвёртого утра и вопили во всё горло немузыкально: «Спи м-а-я радость усниииииии!!!!»

— И что, он вышел?

— Нет. Делал вид, что спит.

Потом Андрей Крайнов (тот самый, враждебный Никитенкин прихвостень, долговязый, белобрысый, говорящий полубасом, с детским, вечно-смеющимся лицом) упился до того, что, выйдя на двор помочиться, не смог вернуться — дверь-то толкалась вовнутрь, а он всё рвал и рвал на себя. Тогда Андрей схватил длиннющую доску, праздно валявшуюся на земле, разбежался и взял дверь на таран — хорошо, что никто в тот момент не стоял за дверью. Тут всё-таки наш колхозный акушер не выдержал и пришёл — как будто бы даже в ночном колпаке — и сказал снова скромно, хотя и твёрдо: завтра на работу, ребята, пора спать. Улеглись. Хотя, наверное, ещё битый час голосили по очереди каждый из своей кровати: спи моя радость усни!!

Мы с Яковом выпили ещё по две и нам предоставили спеть. Яков исполнил свой общажный пьяный хит: «*Бутылка красного вина, жена драгуна, он повенчался с нею раз и навсегда*». Шестигруппники сказали: одобрямс такое веселье! — и всей гурьбой захотели выпить с Яковом.

— А это Игорь, — представил меня Яков. — Человек с неопределённой походкой. Он специалист по Цою.

— Не, — сказал я, принимая гитару и делая вид, что не обиделся на определение Якова моей неопределённости, — я специалист по «Битлз».

— О, «Битлз»! — воскликнул Петя Сорокин. — Спой чего-нибудь из «Битлз».

Я спел. Но если драгунское вино Якова подняли уже на третьем куплете всем табором, то я пел в одиночестве до заключительного аккорда.

— Вообще, — сказал Петя Сорокин в наступившей паузе, — я послушал у них их хвалёного «Сержанта Пеппера». Мне только первые две песни понравились.

— А мне Роллинг Стоунз больше по нутру, — сказал Веня Поздняков.

— Не, Игорь, давай лучше «Кино».

Я сыграл «*Белый снег, серый лёд*». Подхватили. Выпили тоже и со мной.

Гитара перешла к Никите Некрасову. Колоритный был этот Никита. Этакий слитный образ эпох: фамилия из XIX века, классическая, добротно-русская, имя мужественное; лицо мужиковское, круглое, подбородок под усами — квадратный. Взгляд тоже мужицкий, взрослый, опытный. И сама фигура — на-все-руки-ма́стерская. Выходило как будто — один из тех закалённых мужиков, воспетых поэтом-классиком, из деревни Неелово воплотился-прошёл сквозь самого поэта, ничего, правда, не ухватив у него, кроме запаха школьной классики, просквозил всю-то революцию и обе войны, побывав кем-то из стахановцев, сделавшись загорелым, обветренным и ладным и реализовался вот, почему-то, в медицинском студенте-второкурснике, с взглядом мужественно-мужицким, трезвым, основательным и всезнающим, с вековым же тоже вечным огоньком. Никита исполнил переделанную фронтовую песню:

«Ещё немного, ещё чуть-чуть
Ещё гектар, он трудный самый
А я в К... домой хочу
Ведь я забыл лицо декана».

«Декан» вызвал у всех взрыв смеха. Я предпочитал держаться по возможности в сторонке от всякого рода администрации и политической активности. У большинства же имелись к институтским властям те или иные вопросы, а возможно — и несогласия, и «тёрки». В то же самое время концепция «декана» в режиме ироничного упоминания рождала в нашей общей, единосущной студенческой груди некую теплоту, едва ли даже уже не ностальгическую, хотя до «последнего гектара» оставалось ещё дней десять.

— А я тебя знаю, — вдруг сказала мне увесисто и во всеуслышание Ольга Альмер, сидевшая во главе стола на манер местной королевы. — Ты друг Вовы Шахова из моего класса. Ты же, вроде, из 12-й школы, да?

Я смутился. Из жёстких Олиных интонаций выходило, что я вот сейчас должен залиться краской стыда и отречься подобно апостолу Петру: мол, отстаньте, — не знаю я никакого Шахова! Впрочем, я уже рассказывал, что мне приходилось краснеть за Вовку перед друзьями. Но здесь, сейчас, где никто, кроме Оли и меня знать его не знает — с чего бы?

— И вообще, — продолжила беспощадная Оля. — Попридержи коней. Ты тут не ключевая фигура. А Шахову передай, что я его никогда не любила — пускай ничего не выдумывает и губу закатает.

Я пожал плечами.

— Хорошо. Увижу — передам, — смиренно отозвался я.

Оля сурово кивнула и тотчас же перевела взгляд на кого-то другого.

Я понял, с чего бы вдруг такой выпад. С вина, с самоуверенности, разлившейся во мне со времён прорыва в дружбу и какое-никакое признание в 9-м классе, с того, что «*Белый снег*» все со мной хором проорали, я сделался невоздержан и выпендрёжен, с выкриками и даже претензией на доминирование в разговоре. Чего и впрямь не подобало в полузнакомой компании в первый же вечер. И Оля была права и уместна, смиряя меня. Возможно, если бы в младшей и средней школе я был бы перемешан в общем бурлении, а не оттеснён на периферию, к батарее, во мне не созрел бы этот нелепый потенциал, глупо толкающий к такого рода корявому выпендрёжничеству. Поэтому я не обиделся на Олю и серьёзно отнёсся к её нравоучению. Хотя с той поры, пожалуй, мы не обмолвились с нею и словом за всё институтство (сейчас её то ли дядя, то ли племянник — главный врач надо мною). Я знал дотоле об Олином существовании от Шахова. Но не представлял, что она настолько Леди и настолько Железная. Внешне — не ах, довольно простая, хотя и безупречно гладко-белая лицом, на манер «правильной» гипсовой скульптуры, со спокойными, непроницаемыми глазами. Сама тут — как главный врач.

Другой девочкой в шестой была Лена Плотникова. Красивая, с длинной, правильной косой. Но вбившая свою красоту глубоко в тихую тёмнолошадочность. Голос её в общем гаме звучал редко. Но звуча, звучал основательно, низко, вязко. Альмер — белая королева, Плотникова — тёмная королева. Была ещё одна девчонка, Лиза Светлякова, но та и вовсе — немая, немо-гипнотично вечно сверлящая взглядом Веню Позднякова-Авербуха. Поздняков иногда на пике пьянки милосердно и величаво, между делом, снисходя, приобнимал её, и тогда Лиза млела и стекала всем существом куда-то вниз, как узнавший счастье мартовский снеговик. И наконец была Надя Родина, довольно высокая и симпатичная девчонка, прячущая, однако, свою симпатичность в веселящейся простушечности. Яков, сразу же «срубив» эту её простушечность, в паузные, без смеха минуты начинал исполнять хит ДДТ «Родина». И все, смеясь, хрипло подхватывали: «*Родина!! Еду я на Родину* [раскатистый смех*]! Пусть кричат уродина* [смущённый смех]*, а она нам нравится* [гомерический смех]*, хоть и не красавица* [скромный смех]...» И так далее. Надя на каждой строке песни меняла мимику. От «Ну вот! — эх и гад же ты, Берман!» и «Ну и что? и пусть!!» до «Ладно, смейтесь, смейтесь» и «Врёте вы всё!»

Пришёл Вовчик Пермяков со своей водкой. Выпили теперь и с Вовчиком.

Гитарой окончательно и бесповоротно завладел Яков Берман. Он как будто задавал моду на песни нынешнего колхозного сезона. Тут был прежде всего Розенбаум, преимущественно «блатняк»: «*Нинка, как картинка*», «*А ну-ка сделайте мне фото, месье Жан*», «*Мы подошли из-за угла*», «*Фраер, толстый фраер на рояле нам играет, девочки танцуют, и пижоны поправляют свой кис-кис*» и подобное. Был и менее утончённый блатняк со словами: «*А бабушка здорова, кушает компот*», «*Кого купил ты, сука*» и «*Попадали, б.., попадали в ЦК КПСС*». И кое-что из бардов, в основном почему-то про собачек: «*А во дворе метёт снежок и скажет псу «Привет, дружок!» беззлобный дворник дядя Коля алкоголик*» или: «*Ну хочешь,*

миску оближи — чего на мясо-то косисся, ты скажи, ты скажи, как ко мне относисся» — здесь Яков принимался весело изображать часто дышащее, дружелюбно-эгоистичное собачье слюноточивое подлизывание. Всё это на редкость гармонично ложилось на нашу полночную, просвечивающую плывущими свечами дымную водку.

Иногда, чтобы отдохнуть и «опрокинуться», Яков делал паузу и передавал гитару мне. Я играл «*Видели ночь*» и снятую у Мишки Руднева красивую розенбаумскую «*По снегу, летящему с неба*».

Опрокинувшись, Яков забирал гитару себе и исполнял развязную песню «Мата хари блюз», в финале которой смешно выделывал проституточное заигрывающее, томное мурлыканье.

Возвращались в барак часа в три ночи вдвоём с Вовчиком. Вовчик шёл по синусоиде, но говорил довольно внятно. Мы всё никак не могли попасть в тропинку. Ночь стояла тёплая и тёмная.

— Так значит, Игорь, ты с Диной Ежовой замутил? — Вовчикин тон был тоже синусоидный — то в смех, то сразу же, развернувшись, — в серьёзность.

— Ну да, — молвил я, вспоминая в этот миг почему-то о том, как Яков Берман наименовал меня: «Человек с неопределённой походкой» (неужели, это и есть моя полная характеристика?)

— Осторожно, Гош, — сердечно сказал Вовчик, уходя в серьёзную фазу синусоиды. — Она тебя жениться на себе ещё не звала?

— Ну-у-у... Вроде пока нет.

— Не женись, Гош. Рано. Стой! — Вовчик остановился посреди тропинки и меня остановил. — Я тебе сейчас расскажу. — В стоячем положении Вовчика раскачивало. И он то и дело падал, заливаясь хихикально-сиплым смехом, а падая — хватался за мою руку. Я помогал ему подняться.

— У нас один, в Н.., из двора, женился в 16, представляешь?..

— Во даёт!

— Ну да. Чумной. Женился.

— И чего?

— Сейчас расскажу. Пойдём дальше, — на ходу Вовчик делался почему-то устойчивее. — Мы его, бывало, зовём во двор: «Вась, выходи, в снежки поиграем!» А он, представляешь, в ответ: «Не могу-у-у, у меня тут жена-а-а!» И грустный-грустный такой. Вот и ты станешь такой же грустный, если женишься.

— Думаешь?

— Точно. Верняк, Гош!

Шли дальше, пытаясь попасть в тропинку...

2.2.4. Ира Селезнёва и День Западла.

Через пару дней избушка пополнилась ещё одной шестигруппницей - Ирой Селезнёвой. (Если Походниада так и дальше будет плавно скользить по океану нерождённых слов, тихонько магнитя их своим килем, и мы доплывём до четвёртого тома, то там речь об этом персонаже польётся просторнее.) Ира Селезнёва не отправилась в колхоз со всей толпой, ибо, как раз в дни нашего отбытия, в некоем месте нашей уже не вполне коммунистической Родины проходил съезд экстрасенсов. А Ира была экстрасенсом. И она предпочла данное мероприятие первым дням коммунистической жатвы картофеля.

В некий ярко-солнечный момент третьего дня я пришёл в избушку и обнаружил там эту новую обитательницу. Второй, по хронологическому счету, мой институтский друг, сменив-

ший Якова Бермана на его посту, Майкл Государев, впервые увидев Иру Селезнёву, сказал, что главное её достоинство — свет глаз. У всех девушек глаза потухшие, а у неё — странным образом горят! При этом Майкл, привыкший практически обо всём высказываться с той или иной долей цинизма, высказываясь насчёт Иры, вдруг сделался серьёзен, как бы вторя евангельскому на свой позднесоветский манер: «истинно, истинно говорю».

Уж и не знаю насчёт света глаз, но Ира Селезнёва и правда покоряла чем-то цельным, радостно-кипучим и брызгательным изнутри. В этом смысле её можно было сравнить и с Ирой Никитенко, только радость той плескалась в мир рассеянно, на манер пульверизатора, крутящегося неравномерно и орошающего огородные грядки. Селезнёва же извергала свою радость в мир концентрированно и как будто бы целенаправленно: вот, мол, капуста — на неё и лью, а завтра как поменяю направление! — и буду лить на морковь, и никто мою радость не остановит!

Ира была невысока и умеренно широка и, если бы не этот её экстрасенсорный свет лица, пожалуй, внешне ничего особенного из себя не представляла. Но лицо её моисеево светилось, сглаживая и приводя к гармонии Альмерову железность, Плотниковскую темноту, Родинную простоту и Лизосветляковскую влюблённую в Авербуха паранойю. В этой гармонии я и застал 6-ю группу, придя к ним на третий день. Плотникова сидела на стуле в свете бьющих в колхозное оконце ласковых августовских лучей в своей вечной затаённо-невысказывающейся плотниковской темноте, а Ира Селезнёва, чьё светлое, изысканно-круглое, не то что улыбающееся, но вечно-изнутри-сияющее, весёлое лицо было обрамлено прямыми, по-ерофеевски-до-попы-длинными, светло-светло-русыми волосами, снимала с подруги её некую тёмную плохость (как я понял). Ира водила сверху вниз вдоль Плотниковской головы гладкими руками с воздушным зазором сантиметра в два, плавно, плавно, и доводя Плотниковскую темноту постепенно до уровня шеи, сбрасывала её вниз, к колхозно-избушечному полу, разбрызгивая кисть врастопырку не сказать что гадливо, и не сказать что отчётливо-решительно, а как бы гармонично, — гармонично с природой темноты и света — с чем-то таким.

Веня Поздняков хоть и сдерживался, но и издевался:

— И это вот твоё руками убирание отрицательной энергии ты на съезде почерпнула?

— Да нет, — весело парировала Ира Селезнёва, —я и раньше умела.

— А что там было, на съезде?

— Вень, ты не поймёшь...

— Да уж куда нам? Простым докторам...

— Это, кстати, лечение, — сказала Ира, не сбиваясь с такта ровного поглаживания двухсантиметровой оболочки головы Плотниковой с мерным сбрасыванием её нехорошей энергии вниз, в пол.

— Ага! Лечение... — глумился Поздняков.

Лиза Светлякова взирала на Пашу из тёмного угла, замотанная в чёрную косу, не очень красивая, тёмная, но страстная до страсти, готовая взорваться в самозабвенном молчании своём.

Ольга Альмер отсутствовала, но её железный дух говорил: я здесь, и я всё это разное ваше контролирую, имейте в виду!

Петя Сорокин, кажется, был готов присоединиться к Поздняковскому глумлению и иногда что-то добавлял к его едким фразочкам. Никита Некрасов, уравновешивая девчачье-командирский дух Ольги Альмер, молча возлежал в противоположной Альмер стороне избушки, покуривая папиросы (он почему-то игнорировал сигареты). Андрей Крайнов просто спал. Я был не то что лишним, а... Просто я не проучился целый год в уникальной шестой группе. А они, кажется, видели друг друга уже насквозь. Что твои экстрасенсы.

В некий сумрачный день, в выходной, когда нас не повезли на поле, в шестой группе был объявлен День Западла. Западла обоюдного. Тут не обходилось мазанием сонных морд зубной пастой. Следовало издумать нечто более изысканное. Ранним утром парни, влезая в штаны, обнаружили, что низ их штанов искусно смётан нитками и ну никак не получается влезть в них. Это было в отместку за то, что накануне обувь девушек была аккуратно прибита в разных местах громоздкими гвоздями к потолку избушки. Что случилось в отместку за то, что в чай ребятам были подмешаны лекарства. Причём всем разные, по жребию: кому от запора, кому от отёков. Примерно по 10 таблеток на стакан. В результате Петя дристал, Веня ссался, Андрей тоже дристал. Лишь Никита Некрасов остался невозмутим. В свою очередь это случилось из-за сцены, устроенной накануне. Ребята сговорились надуть девчонок, мол, пришли «местные», причём мужики в возрасте, едва ли не старики. Пошли защищать дам. Последовала зловещая пауза, в кульминации которой разверзлась в нощи дверь, и на пороге оказался Петя Сорокин в фуфайке и с мертвенно-бледным, неподвижно-страшным и страшно-неподвижным лицом. Девушки, и без того умученные сковывающим ужасом, наблюдали, повыскочив из-за стола, как Петя медленно поворачивается, падая навзничь, а у него промеж лопаток — вонзённый в спину топор, обагрённый кровью. (Потом, впрочем, Петя встал, как ни в чём не бывало, скинул фуфайку с бутафорным топором, вернулись прочие воины-защитители, и все отправились снова пить водку.)

Я пришёл в избушку к обеду. Лена Плотникова, Аня Родина и Ольга Альмер расположились за столом и готовили отлучившимся по грибы парням очередное западло. Важно было, как я понял, в основном, отомстить несгибаемому под фармакологическим напором Некрасову. А он, как раз, лукошко-то, отправляясь по грибы взял, а любимые папиросы оставил, прямо россыпью на столе.

Было пасмурно (к грибам), вот классическая душа Некрасова и не стерпела — улетела в лес. Ушли с ним и Петя, и Веня (Лиза лежала на своей койке, отвернувшись в отсутствии Паши от мира к стенке), и Андрей — выгуливать вчерашний хмель. Я присел к столу и наблюдал лица Ольги, Ани и Лены — радостную кровожадность их лиц (где была в тот момент экстрасенс Ира, я не знаю, — возможно, решила не мешать своим экстрасенсорным всезнайством действованию Западла, как оно есть). Лена аккуратно вытряхивала из Некрасовских папирос табак до половины, крутя колдовски в своих тёмных, тончайших пальцах. Оля же спокойно, мерно, с знанием дела начиняла освободившееся пространство папиросы серой, предварительно соскобленной Аней ножичком со спичек в лоно пластмассовой крышки от банки с домашними консервами. Приняв из рук Оли подготовленную папиросу, Лена особенно ответственно наполняла пространство папиросы вновь зигзагами и спиралями сушёного табаку, трамбуя и прилаживая их вкруг серной начинки. Совершали они своё радостное злодейство столь буднично и монотонно, что мне даже и не было смешно. И Оля, возлюбленная странного человека Шахова, бывшего моего друга, и Лена тёмная Плотникова, и Аня Родина шапокляКили спокойно, степенно, размеренно.

Пришли грибники. Усталые. Всё выстлалось так, как, видимо, выстилалось всегда в шестой группе, — то есть гармонично. Веня Поздняков, проигнорировав резко вскочившую из-под мрака забытья Лизу, упал своим хиповско-еврейским лицом в подушку, Петя Сорокин сел спиной к пространству комнаты на приступок крыльца. Андрей Крайнов, как говорили, лежал, не дойдя до избушки, в траве двора, промеж дров, устремив взор в серое небо. Никита же Некрасов (что же вы думали?) уселся за стол. Прямо перед рассыпанными, забытыми папиросами. Дамы затихли. Я тоже сидел тихо, предуведомлённый ими, что, если вдруг *возникну*, меня казнят. (Вот *почему* Некрасов не увалялся промеж дров с Крайновым, или не уселся с Петей на крыльце, а именно расселся на стуле возле стола с рассыпанными папиросами?.. Раскинув в грибной неге в стороны колени. Опрокинув голову назад на две-три томных отдохновенно-похмельных минуты, вперив свой советско-классический взор в всепони-

мающий избушкин потолок...) Мы наблюдали. В напряжённом ожидании. Иной штирлиц либо холмс мгновенно что называется «прочухали» бы неладное в этом заговорщическом девичьем и моём, гостя, молчании. Но не Никита Некрасов, не нашедший в похмелии своём в верхнепрокопьевском лесу ни одного гриба и уставший как чёрт.

Но он не сразу взялся за папиросу. Сначала томительно снимал свои крестьянские сапоги с портянками, сапог за сапогом, портянку за портянкой. Потом снова запрокинул голову и смотрел в потолок. Минуты две. Мы молчали. Молчали и Петя на крыльце и Крайнов где-то там в траве.

Наконец... Ноги, видимо, у Никиты выдохнули-отдохнули от портянок и сапог, похмелье смирилось с Никитиной душой, а Никитина душа, налицезревшись потолка, — с похмельем. И Никита. Праздно и расслабленно протянул руку к подруге-папиросе. Наше молчание сделалось особенно звонким. Никита Некрасов сложил гильзу в два советских прижима, вставил папиросину в рот, под классические свои, мужицкие усы. Левая рука потянулась скучно, томно к коробку спичек. Медленно, устало. Расслабленно. Отдыхновенно... Чирк. Ещё чирк. Поднёс огонёк. Я подумал: расчёт, наверное, на то, что сера вспыхнет в середине. Но нет!.. Некрасов поднёс спичку к концу папиросы, сделал затяжку, и оно вспыхнуло! Никита разбросал парализованно-спазмированные руки-ноги, глаза в смешном ужасе округлились, пялясь в безумный фейерверк и сквозь него, в хохочущую Альмеро-Плотниково-Родинскую вечную беспечность. Шипящая вспышка тянулась три мгновения. Запахло сгоревшей серой и палёными Некрасовскими усами. Пауза.

По-чаплински смешнее всего оказалось то, как Никита остался, ещё не вернувшийся в жизнь, с мёртвой, перпендикулярной папиросой во рту и обугленными волосами усов под круглыми глазами с распахнутыми объятьями ног и рук. Таковая поза его сохранялась ещё пару мгновений, — как раз время вожделенного Альмеро-Плотниково-Родинского восторга. Прибежал Петя с крыльца.

Никита выдохнул и отыскал в сердце кусок привычной мужественной улыбки.

(Кажется, то был последний акт Дня Западла.) Хватит.

2.2.5. Дина и колхоз

Дина ответила на моё письмо. Я отправил ей «Всё будет хорошо» Башлачёва, а она мне — «*И скучно, и грустно*» Лермонтова. Мне сделалось нехорошо. Я понял, что совершил ошибку, выставляя свой трёхмерный мир перед её очевидно двухмерным. Наша с ней диванная Энигма не сочеталась ни с чем возвышенным — ни с однозубым ленинградским скрипучим алкоголиком, ни уж тем более с прилизанным, ровно-усатеньким придумщиком циничного Печорина.

Я нахмурился, и никак не мог расхмуриться обратно. Лучше бы уж я не слал ей пошлых стихов, чтобы она не опошлялась, вторя мне!

Усугубило моё расстройство и то, что однажды, вернувшись с картофельного поля, я обнаружил, что фотографию Дины на моей тубочке засидели изрядно мухи. Понаставили чёрно-коричневых точек-штрихов, не обойдя стороной даже и Дининого лица. Одна из девчонок 8-й группы (не помню, кто), войдя к нам и обнаружив это безобразие, упрекнула меня, — мол, ну вот! — любовник называется — не смог портрет Джульетты своей от г..на насекомых сберечь! Я понимал, что всё это — эстетика условностей, но мне-таки было нехорошо.

В письме, под Лермонтовским про жизнь «*такая пустая и глупая шутка*», Дина прибавила, что такого-то вечером будет у сестры в 19.30 ждать моего междугороднего звонка, если я смогу вдруг позвонить с какой-нибудь там у себя почты. К назначенному времени я отправился в Верхний Прокопьевск. Плачущий звёздами колхозный август уже вечерел к такому часу. Дорогу мне переползали изобильные в тот год почему-то ужи. На почте электрическая, щёлкающая «барышня» соединила по проводам нас с Диной. Голос моей возлюбленной зву-

чал тревожно и нежно, — она едва не плакала, мне услышалось. Мы признались друг другу по телефону в любви, — она, видимо, при сестре с её мужем-Валерием, я — при чопорной верхне-прокопьевской почтмейстерше в августовском свежем мраке. Обещал приехать послезавтра. Дина сказала, чтобы я приходил к Елене, её сестре, часам к шести, — там у них будет чей-то родовой праздник. Выйдя из почты, я смотрел в деревенскую тьму, и мне казалось всё нереальным: и вечно-пьяный колхоз, и странный Верхний Прокопьевск, и я, такой везучий, потому что меня любит моя любовь. Реальным казался только тревожно-нежный голос Дины, только что слышанный мною в чудо-трубке.

Колхозный командир отпустил меня на один день, мол, езжай, красноречивый чёрт, раз так припекло тебя!

Перед автобусом Вовчик налил мне стакан браги, невесть откуда взятой. Вот, Игорь, на́, — ты такого ещё не пробовал. Я пригубил. А чего тут пробовать? — кисленькая молочная глупость! — Вовчик усмехнулся: увидишь, мол. Сев в автобус, я увидел... Стакан этой забавной глупости оказался что твой стакан водки, коль не больше. Я вертел головой по сторонам и глупо улыбался на всё.

По приезду рванул к Дине. Но, пересекая вприпрыжку «двор-пентагон» (тот-самый, где играл в детстве в футбол с Фетисом; вокруг которого обводил полтора года назад Дину-богиню в солнечном марте и на юго-восточном углу которого Никитенко пыталась научить меня танцевать Ламбаду), я с размаху врезался левым глазом в бельевую верёвку. «Всё!» — подумалось мне, — «теперь я одноглазый. Папа сказал однажды: «мужчину шрамы украшают», но что́ бы он сказал про мою одноглазость? А что скажет теперь моя тревожно-нежная Дина?» И я, прикрывая раненный глаз ладонью, поплёлся в 8-ю поликлинику. Молодая женщина-окулист в маске прикасалась к моей голове предупредительно-ласковыми, прохладными пальцами и напевно-задумчиво приговаривала в процессе осмотра: «Н-н-ну-у-у-у, ничего-о-о, только веко задел, остальное — цело». — «Хорошо», — подумалось мне. — «Два здоровых глаза — очень хорошо. Хотя все эти пусто́ты никогда не сравнятся с нашей с Диной любовью: какая, по сути разница — один глаз или два?» Мне наложили повязку, и я отправился домой, чтобы не пугать нежно-тревожную возлюбленную.

Полшестого отправился из дома к Дине на семейный праздник. Прошёл мимо Дома Моделей, по проспекту Строителей, потом — налево по Поэта Савина. Увидел одним глазом впереди жёлтую курточку. Не Дина ли?.. Ускорил шаг. Да! Она. Идёт с мамой и тётей. Я решил не догонять. Идти в том же темпе, что и они. Здороваться с её родственниками на улице... — нет! не хочу.

Я видел: девушка в жёлто-лимонной курточке (уже три года я люблю эту девушку!) отошла от тех двух фигур вбок и пошла по бордюру, балансируя руками, выбрасывая резко правую руку вверх, чтобы не свалиться с кирпичного низкого бордюра... Сошла. Пристегнулась снова к спутницам. Мне показалось: разговор у них серьёзный, — спина у Дины напряжена, голова опущена. С чего бы? О чём они там?.. Почему жизнь давит на неё? (Она же богиня!) Странно...

Я медленно, по-разведчицки, выслеживал их. Дина не чувствовала мой взгляд, — иначе бы обернулась. Впрочем, я был далеко, а она — близорука, не распознала бы. Поняв, что Дина не обернётся, я стал анализировать момент. Как же так? — вот я иду, а впереди, не зная, — идёт моя нетленная, единственная, земная и небесная любовь в жёлтой курочке. Когда идёт по тротуарному бордюру — земная. Когда возвращается на тротуар — тоже земная... В чём же небесность?.. Жёлтая. Жёлтая курточка. Да, всё так. За что же меня, такого бесталанного, бестолкового, столь нежно и преданно облобызала жизнь?.. Вот, между нами расстояние. Я не тороплюсь. Может быть, если бы и не было мамы с тётей, я бы не торопился. Анализировал. Анализировал бы себя и свою любовь... Расстояние между нами. Не сокращающееся по моей воле... (А может быть всё-таки она (любовь моя) земная? — Но ведь не могут быть обманчивы эти её сладко-тянущиеся, нездешние, тёмно-розовые поцелуи. И волоски возле её

ануса, к которым милостиво допущены мои пальцы, — слишком неземны, чтобы мне вдруг так богохульствовать!.. Нет. Нет.) Вот. Она идёт с ними. Настоящая, материальная, в жёлтой курточке. Когда-то (по земным меркам пару лет назад, а по небесным — вечность назад) я вожделел, уткнувшись лбом в её невидимость, в её бесконечно-унижающее меня отсутствие вокруг меня. Я гадал: где она? В каких окнах? В какой жизненной светло-электрической усладе богиня моя?.. А теперь — вот она: идёт впереди по Савинке, по тротуарному бордюру, балансируя неровными (хоть и красивыми!) полукружиями рук. И она — моя. Как ни странно, — по-земному моя. Ещё и Лермонтова прислала! Эх...

Не помню тогдашнего праздника у Дининой сестры. Помню: Дина проводила меня, в темноте уже, на́ угол, где останавливается 27-й автобус. Я бы сел в него и отправился на автовокзал, потом — пересел на последний рейс на Верхний Прокопьевск. Было почти безлюдно. В стене 50-го дома по Хмелевого была ниша возле угла, и туда мы спрятались. Там я обнимал и целовал её. Она отвечала мне, но не страстно, с оглядкой, стеснённая своими улично-целомудренными законами даже ночью. У меня прихватило досадно кишечник.

— Что такое? — спросила Дина.

— Живот болит. Спазм какой-то, — скислил рожу я.

Дина обняла меня одной рукой. Я упёрся лбом в её плечо. Спазм медленно проходил.

— Автобус! — сказала Дина.

Огни. Глазасто-электрическим конусом-квадратом. В городской темноте.

Я спешно поцеловал её. Она ответила теперь страстно. Я побежал. Она махнула. Я махнул. Резиново-жёлто-железный лязг автобусных дверей. Поворот на Савинку. Ночь за окнами.

На автовокзале, на площадке оказался Никита Некрасов. Вдвоём возвращаемся в колхоз.

— Что с глазом?

— Да так, о бельевую верёвку на бегу задел.

— Понятно, — (не усмехаясь).

Немного неловко. Мы совсем разные люди. Хоть в каких-то, не афишируемых перед самими собой, моментах почему-то уважающие друг друга. Я Никиту — за его взрослость, мужественность и крестьянскую, монументальную классику, он меня — может быть, за нестандартность и тонко-утончённую неизведанность. Едем. Почти молча. Никита скупо расспрашивает. Почему-то про Шугу. Кто да как?.. Я заикнулся про его маму и забыл слово. «Талантливый...» Щёлкаю пальцами. Женщина, зубы лечит...

— Дантист?.. — подсказывает Никита Некрасов.

— Ну да, — соглашаюсь я, хотя так и не могу вспомнить слово «стоматолог».

В Палехе стоянка почему-то 20 минут.

Выходим курить в ночь, и Никита увлекает меня на палехскую улицу.

— Посмотри, — говорит, — тут каждый дом — картинка!

(Художественный взгляд. А я же — профан... Ну ладно, сделаем вид, что понимаем все эти ночные, подфонарные разноцветия и вычурно-издревле-православные-резные наличники.) Не понимаю я Никиту Некрасова. Что-то в нём такое слишком уж усатое, ностальгирующее по русской древности, при том, что он — цельный, совестливо-хватающийся обеими руками за уезжающий в закат советский картофельный комбайн.

По приезду Яков Берман:

— Что с глазом?

— Да так, о бельевую верёвку на бегу задел.

— А, — морщит он свой еврейско-котово-сметанный рот, — это так теперь называется?..

Пожимаю плечами. Чего тут докажешь?..

2.2.6. Пьяные будни

Работу в поле помню крайне смутно. Бесконечная пьянка всё поглотила. Мы в бараке, по крайней мере, хоть изредка высыпались. Шестая же группа только пила, плясала и вопила все ночи напролёт. Яков, сменивший Агапова в период его отъезда на посту колхозного командира, будил шестигруппников по утрам, и ежеутренне бывал выматерен каждым из них немилосердно. Яков выпивал кружку терновниковой браги и продолжал пинать кровати мычащих и огрызающихся, опухших обитателей избушки. Вставали-таки, брели на работу. Некоторые. Ибо был уговор ездить на работу меняющимся половинным составом. Председатель колхоза, придя к нам в ночь перед отъездом, искренне удивился, что студентов так много.

Однажды нас перевозили с поля на поле в нашем грузовике-автобусе, в котором по периферии кузова была утлая, узенькая лавочка. Усидеть на ней, скача по деревенским колдобинам, было чрезвычайно сложно. Однако измождённый от похмелья и бессонницы Петя Сорокин, не будучи, собственно говоря, худым человеком, умудрился на ней растянуться и даже заснуть. Он храпел так, что перекрывал рёв мотора. Мы переглядывались и смеялись, те, по крайней мере, из нас, кто ещё был способен смеяться, с болью прорывая плотную, надменную, тусклокровавую пелену похмелья.

Вечером же откупоривали бутылки и постепенно веселье возвращалось на место.

Ира Селезнёва помимо экстрасенсорики проповедовала жгучую музыку: рэп, Доктор Альбан, *не щекочи мне душу*. Вытаскивала танцевать в круг с собой Плотникову, Лизу и Родину свой бесконечный, темнокожий *итс май лайф*. Ира носила штаны серо-оливковые, клетчатые с верёвочкой; попа у неё была великовата, но Ира видимо нисколько не смущалась недостатками своей фигуры, — была весела, легка и забористо-заливиста.

Когда Доктор Альбан вконец надоедал, ребята ставили на магнитофон роллингов. Тоже эта длинно-нудная, но и крутая *baby, baby, baby, you out of time* (детка, детка, детка, ты отстала от времени). Так и виделся большеротый Мик Джаггер, внятно-растянуто, нравоучительно доказывающий своей девушке, что носить красные штаны немодно, а надо вот такие, как у Иры Селезнёвой, серо-оливковые, и если она упирается и штаны не меняет, то уж извини, но *бэйби, бэйби, бэйби, ю аут эв та-аааайм*. Потом начиналась более забористая *Mother`s Little Helper. Кидз а дифэрэнт тэдэй*... Как выяснилось позже — песня про то, как праздные английские домохозяюшки заедают грусть-тоску транквилизаторами. Почему-то тут, в очередной раз «опрокинувшись», я заявлял кому-то, что у Пинк Флойд, как ни крути, лучший альбом — The Wall. Этот кто-то, к кому я обращался, настораживался, — он-то считает, что *даксайд и ушц ю уэ хиэ* грандиознее и смачнее, но я заявляю столь безапелляционно, что он смиряется и говорит, что да, «Стена» — тоже круто! (И он может достать мне альбом, если я хочу.)

Ольга Альмер уже прилюдно не унижает меня, хотя и вряд ли поменяла свое мнение насчёт моего неуместного выпендрёжничества. В любом случае, в общей пьяной суматохе я давно уже не чувствую себя чужим и презренным. Когда Яков устаёт голосить свою «*Бутылку красного вина*», я выхватываю у него гитару и начинаю выпевать что-то «своё» из «Воскресения», «Кино» и неблатного Розенбаума. Ни с кем у меня нет такого близкого, ахового такого, голова к голове, как с Венчуком два года назад. Вовчик даёт советы насчёт женитьбы, Яков занят всеобщим увеселением, шестигруппники, видимо, прислушиваются к пророчице Альмер и плотнятся в своё уникальное единство, игнорируя меня, невольно, между делом, «без обид», делая спокойный акцент на моей чуждости. Тем не менее, пьянка всё уравнивает, делает всех нас общим, пьющим, хахалящимся и орущим глупые песни организмом.

Веня Поздняков преимущественно исполнял некий хиповский гимн, довольно весёлый, где были фразы: «*хайра́ нам обрезают, воевать нас заставляют, хотя мы вовсе не сторонники войны*», «*автоматы променяем мы на кайф, автоматы променяем, всех капралов застебаем*

и устроим офицерам чёрный лайф», «*алым маком вся покроется земля, и цвести повсюду будет конопля, а волосатые* [тут противоречие, хиппи же сами волосатые, но пьяный Веня пел почему-то именно так] *ублюдки будут нюхать незабудки, вся земля для них сплошные гоголя*» и так далее.

Ближе к концу колхоза приехал некий друг то ли Позднякова, то ли Сорокина. Вот уж точно, — настоящий хипарь. Глаза — стеклянные, монотонные. Казалось: если мы тут пьём, не останавливаясь уже три недели, то он пьёт уже, не останавливаясь, полтора года, не меньше. Приучил нас чифирить. Чтобы не спать до утра. Как будто шестая группа в этом так уж и нуждалась!

Странно было с этим чифирем. Я, давясь, хлебал этот мерзкий напиток, но вместо бодрости получал лишь искусственное сердцебиение, унылость, а главное — смывало опьянение будто водой, как будто его не было! И тут Поздняковско-Сорокинский друг заводил свою унылую на пяти аккордах:

«Я пришёл к тебе, мне было весело
А ты сказала «пьян» и тряпкой свесила
А ты сказала «пьян», и как отрезала
Ты уходи, — любить хочу я трезвава-а-а...
А я сегодня пьян
А я сегодня пьян
А я сегодня пья-а-а-а-ан, Оо!
Сегодня понял я, какая злая ты
Я шёл к тебе любя, а ты облаяла
А ты сказала мне: все диваны заняты
Ах если б знать о том чуть-чуть заранее
Но я сегодня пьян...
И чёрт с тобой, уйду, пускай на сердце грусть
Я не пойду к пруду и в нём не утоплюсь
Но чтобы снять с души своей свой тяжкий груз
Пойду к себе в кабак, и там опять напьюсь
И я и завтра буду пьян
И послезавтра буду пьян
И после снова буду пья-а-а-а-ан, Оо!»

Я уж и не знаю, сам он сочинил эту песню, или снял у кого, но для меня она стала великим меланхолическим гимном того колхоза. Я вырвал у того парня гитару и стал снимать перебор и аккорды. Было легко, «народно», с одного прихвата: ля-минор — фа — соль и так далее.

— Ладно! — говорил я и возвращал ему гитару.

А он отмахивался лениво, как бы говоря: «Не, пой сам, — я, видишь ли, своё спел».

И я пел обчифирённым, полусонным шестигруппникам какого-нибудь воскресениевского «Музыканта». Из нашей 8-й группы, из разобиженного барака, приходила только Ксюха Полозняк. Вот она и подпевала мне. Остальные уже валялись на столе или на кроватях, навзничь. Было уже под утро. Мы с Ксюхой уходили.

В бараке тоже жила жизнь. Девчонки делали друг другу массаж и, кстати, включали пинкфлойдов. *Shine On Your Crazy Diamonds*. «О! Какая музыка!» — восклицала Оля Лебедева и бежала делать массаж Ире Кузикян.

Маринка Постнова схитрила. Чтобы не кататься на поле, она заделалась поварихой вместе с Ксюхой Полозняк и готовила на весь барак ужин. Я иногда приходил к ней, и мы не то

что трепались, а так, — сидели рядом. Маринка просила меня порой почистить картошку. И радостно, мурлыково сообщала мне свои *конфуцианские* новости [Конфуций, помимо Насреддина, — ещё одно прозвище Коли Крабина, Маринкиной зазнобы]:

— Игорь, ты в курсе, у нас в группе Мишка Государев с сентября будет учиться. Классный! Знаешь его?..

— Вроде как слышал... — призадумался; это, наверное, тот, что однажды заходил к Якову, такой мелко-отчётливый, который прокомментировал звук рухнувшей на пол гитары — «о! звучный аккорд!», — а откуда он вдруг к нам?

— Из академа... Он Колин друг.

— А...

— Его с кафедры физо попёрли.

— Ясн.

Однажды мы пошли в баню в Верхний Прокопьевск. Перешагивая в закате через живовьющихся и давленных мелких ужей. Рай, я увидел, для таких усатых и рано-мужественных, как Никита Некрасов. Парилка! Петя Сорокин стегал Никиту веником, и в этом было... если не всё, то много. Почти вся жизнь, вся вечно-высвобождающаяся, но и вполне довольная своей невысвобождающностью Русь. По усам Никиты Некрасова стекал кровавый пот Высоцкого, хрипящего: «*Затопи ты мне баньку по белому, я от белого света отвы-ык*». И ещё: «*А на правой груди профиль Сталина, а на левой Маринка анфас*». (Я же, как всегда, несколько смущался своего тщедушного тельца, и переносить русско-парилковую жару мне было не в мочь.)

2.2.7. Берманские уточнения и отвальная

Связался на днях с Берманом. Он внёс уточнения. Оказывается, место, где мы располагались, именовались Вершонихою. И как раз посередине нашего срока случился обычно-языческий День Вершонихи, и мы, видимо, его отмечали. Стало быть, пьянка наша иной раз не была такой уж бесструктурной. На День Вершонихи приезжал также Конфуций. Помню. Приезжал. Но помню смутно. Кажется, он вполне себе гармонично вписался в компанию шестой. Конфуций привёз с собой флаговое полотно и на нём намалевал белой краской: «Вершониха — только для Вершонихцев!!» Изрядно выпив в тот день, мы ходили в сумерках от барака к избушке с флагом, провозглашая вслух этот странный лозунг.

Уточнил Берман также и про Овсяника. Уехал тот, как выяснилось, не из-за наших девушек, скупых на любовь, а из-за того, что, демонстрируя свою украинскую богатырскость, отрывая и ломая ногой доски некоего забора, дабы выстлать мостик через лужу перед входом в барак, проткнул ногу насквозь аж даже через резиновый сапог ржавым гвоздём. Рану обработали перекисью. На другой день, однако, нога распухла и посинела, и Прянику пришлось эвакуироваться.

Ещё Яков напомнил, что на «отвальную» ухарцы из шестой притащили сворованного в соседней деревне петуха и приготовили его в печке. Петушиные же перья следовало спрятать в земле, тем более что колхозный командир Агапов по этому поводу разве только не рвал на себе волосы. Перья, укутанные в клочок целофана, прятал Яков. Но шёл дождь, и Яков сленился подойти к делу ответственно. Кинул на целлофановый куль пару земляных комьев, а сверху воткнул срубленную берёзку. Параллельно, локализовавшиеся в той, соседней, деревне, откуда Петя и Никитой упёрли петуха, педиатры утащили из Вершонихи на свою «отвальную» курицу. Утром к бараку пришли местные крестьяне расследовать преступление. Было обнаружено, что весь двор перед бараком усеян перьями, а в кусок плохо прикрытого землёй, порожнего целлофана неаккуратно воткнута покосившаяся и поникшая свежая, желтолистая берёзка. Спасло нас то обстоятельство, что выкраденная курица таки была белой, а раскиданные перед нашим

бараком перья — серо-зелёные, с отливом. Петух же, со слов Бермана, оказался чрезвычайно вкусным.

Яков поделился и некоторыми сведениями по поводу тогдашнего своего командирства. В отличие от многих прочих студенческих групп, заработавших в колхозе сущие копейки (а иных и оставшихся должными колхозу), мы умудрились заработать по десяти рублей каждый (что немало). Причём не на картошке, а на закрытии Яковом нарядов. В частности, нам не были предоставлены дрова, выгребная яма и прочее, и Яков, получается, выморщил всё это в денежном эквиваленте. Когда в первый день пошли разбираться, почему нет мяса, выяснилось, что ветеринар, тот, что должен был предоставить нам свинью, — в запое. Якову и Агапову было предложено самостоятельно заколоть хряка в таком-то загоне и впредь питаться им. Командир и замкомандира пришли к загончику. Хряк оказался с виду истощённым некоей свиной болезнью и в то же время дико агрессивным — при попытке командиров войти в загончик стал кидаться на них что твоя бешеная собака. Задумались. Агапов соорудил из верёвок две затягивающиеся петли, которые были кинуты на пол загона, в надежде, что хряк вступит в них своими передними и задними копытами, а Яков с Агаповым его подсекут и растянут. Ловили хряка добрые полчаса, куря в тоске одну за одной. Поймали-таки и зарубили. Освежевали, и отнесли мясо девчонкам на кухню.

Ещё Никита Некрасов вычудил следующее. Договорился с знакомым директором к-ского ресторана и тот подвёз к уборке картошки свой инкогнито-камаз. Выручка была распределена между студентами.

Уточнил также Яков, что же-таки мы там пили. В первый же день Никита Некрасов «надыбал» две 20-литровые фляги и заварил в одной терновниковую брагу, в другой — зерновую. Терновую мы пили, а из зерновой Никита стал делать самогон. За сим занятием его, в тельнике и трико с вытянутыми вперёд, обвисшими коленками, застала «бабушка», обитавшая в нашем бараке [к слову, Яков прояснил, что барак был кинутой вершонихской школой, а избушка — клубом]. «Бабушка» озлилась на Некрасова и кинула ему в лицо, что он «ирод усатый». Дефицит в стране на всё подряд приблизился к своей кульминации. В сельском магазине торговали водкой не по талонам, но втридорога, с обязательством взять привесок в виде залежалого гнилого урюка. В результате, помимо водки, мы пили компот с червями на дне стаканов.

В Верхний Прокопьевск однажды завезли пиво, и мы бросились с флягами затариваться. Вечером же выяснилось, что куплено нами не пиво, а противная, практически безалкогольная вода с запахом зерна. Мы плюнули, поставили фляги с псевдопивом к «бабушкиной» печке и забыли про них.

На «отвальную» явились в барак колхозный командир Агапов и командир [председатель] колхоза. Командир колхоза, мужественно-пузатый и с виду грозный, видимо, настолько устал от нас и нашего вечного противления безвозмездной службе, что водрузил на наш барачный длинный стол три бутылки водки, выразил коротко уже не так уж и коммунистически-советскую, колхозную нам благодарность, и раздражённый тем, что мы не согласились убрать-таки четверть какого-то поля, отбыл прочь. Водку мы выпили мгновенно, после чего отбыл и скромный колхозный командир-акушер, оставив нашу бурную толпу в школьном бараке, при смутном электричестве. Всё кончилось: и Некрасовский самогон, и брага, и водка. И зачем тогда ещё чифирь?.. Вспомнили про зерновую водичку, оставленную во флягах возле «бабушкиной» печки. Кто-то испробовал. «О!!» — раздался его возглас. — «Да это ж пиво настоящее!.. Настоялось, похоже». Мы ахнули на стол обе фляги. И полилась дальше разудалая пьянка.

Я сидел рядом с Маринкой. Хорошо было, любя Дину, её уже не любить, а лишь дружить слегка. Маринка проповедовала Агузарову.

— Слышал чего-нибудь из «Браво»?

— Ну так, — кукожился я, — «Жёлтые ботинки» вроде бы забористо...

— Ну ты просто мало слышал.

Поставила. Вокал у Агузаровой, конечно, основательно-крикливо-взрывной, но тексты, после угрюмой мудрости всяких Гребенщиковых, Башлачёвых и даже Цоя — наивные и, как будто, оскорбительно-никчёмные. Я вслушивался в её птичье-заливастые переливы в пьяно-колхозной, электрической тусклости, но никак не мог проникнуться... Все уже были пьяны и ничего не могли, разбредались.

Дольше всех засиделся тот как раз хипарь, друг то ли Сорокина, то ли Позднякова. Глаза его и вовсе остекленели, но он всё сидел и сидел в торце длинного стола. Теперь уже мы возвышенно мычали его гимн «*А я сегодня пьян*», а он, бедолага, просто безучастно сидел, заблудившись взглядом в пространстве перед собой. Кончилась отвальная.

2.2.8. Возвращение

На другой день кладовщице, ещё одной «бабушке», сдавали постельное бельё. Ушлые Некрасов с Сорокиным снова учудили. Бабушка заносила внушительно, сквозь дальнозоркие очки с одной дужкой каждый предъявляемый куль в некую учётную книгу, Некрасов передавал куль Пете, а тот два куля кидал направо, один — налево. Кучу, сформировавшуюся слева, бодрые студенты-разбойники уволокли от слепой бабуси в свою избушку и рассовали бельё по рюкзакам. Кажется, в то время воровство различной степени мелкости в условиях общегосударственного дефицита почти даже и не считалось зазорным.

Сели в автобус. По выруливании на шоссе шестигруппники снова взорвались смехом. Ночью девчонки сходили к вывеске при въезде в Вершониху и зубной пастой замазали слово «*мая*» и сверху углём написали «**апреля**». Получилось: «СОВХОЗ ИМЕНИ 1 АПРЕЛЯ».

Всё. Стояла середина сентября.

В К... Веня Поздняков разбранился с водителем автобуса. Тот ни в какую не желал делать промежуточных остановок. «Вы что, на принцип пошли?!» — громко выговаривал Веня скрежещущему зубами упрямому водиле. Всё-таки бойцовые петухи были все эти шестигруппники. Я так и не подружился ни с кем из них; никто не допустил меня до дружбы.

Опять купил розы Дине. Пять штук больших, разноцветных, с жёсткими, деревянистыми стеблями. Я не был доволен покупкой. Раздражало, что у «взрослых» роз листьев либо не имелось вовсе, либо были они недобросовестно жухлые, а то и с гнильцой. Шипы изрядные, крепкие и всегда в достатке, а листья — куцые, или вот ещё — гнутые по диагонали или переломанные у ножки; несовершенные. Моя юная любовь смущалась от такого несоответствия. Не то чтобы я стремился углядеть в своём букете некое отображение нашей любви, но моё сердце подлаживалось к такого рода символике, рвалось дополнить любовь чем-то безупречным, подобным ей. Яркость бутонов — как наши поцелуи и ласки, нежность и гладкость лепестков — как Динина кожа и мои ладони, скользящие по ней. И при чём тут тогда эти листья, обвисшие книзу подобно ушам спаниеля?

Я приехал домой, уселся на диван и стал придирчиво вертеть и обглядывать букет. Оборвал все ущербные листы, — надломанные, гнутые, так, что иные стебли оголились: один бутон — один более-менее лист, неприкаянный. И теперь я хмурился уже из-за этого. Как бы приладить эту любовь? Как сделать её совершенной?..

Я набрал в ванну холодной воды и положил цветы в воду; до вечера. Иногда приходил и смотрел. В воде цветы как будто оживали. Бутоны концентрировали на себе росистые, весёлые бусины, листья не казались уже такими уж умученными. В шесть часов вечера завернул цветы в «Пролетарский край» и поспешил к Дине. Сентябрь ещё тёплый, но шепчущий, шепчущий о своей уже ненадёжности, о возможной, вот-вот, смерти тепла. Я шёл. С большим газетным

свёртком наперерез. Я спешил, радостный и свежий, хоть и на слабых ещё ногах, к любви, подаренной мне жизнью.

...Не в тот же вечер, но, может быть, через пару дней, когда зашёл разговор о цветах (мы были у меня в комнате; надвигался вечер, и мы собирались на прогулку), Дина сказала мне, как будто даже и с укором, во всяком случае — с намёком на укор:

— Вообще, знаешь, как дарят цветы? Приносят одну розу. Но зато вот такую, — Дина немножко приподняла вверх расположенную параллельно полу в моей комнате ладонь, так, что ладонь оказалась почти на уровне её бедра. (Стебель размером едва ли не с Динину ногу.)

Я загнул очередной палец в своей неопытной груди. Моя подруга научила меня ещё одному джентльменскому правилу.

2.3. Второй курс

2.3.1. Государев

Первым семинаром третьего семестра случился английский. Не вполне понятно, зачем был нужен студентам-медикам этот предмет в условиях железного занавеса — не всем же врачам шпионами быть.

В 8-й группе, как и предрекала Маринка Постнова, появился новый человек — Мишка Государев. (Если бы я был последовательным, то написанный в 2021 году роман «Посёлок Просцово» был бы «Походниадой. Том 5» — там этот человек уже широко представлен, так что жаль, что его приходится повторно описывать; да что ж! — вдруг хоть не автор, так некоторые читатели последовательными будут.) Мой новый одногруппник уселся через человека справа от меня — с виду как бы инопланетянин: небольшого ростику; голова треугольная, с тупыми углами у теменно-височных залысин и острым к подбородку; глаза немного навыкате — как бы вечно чем-то слегка удивлённые — чем? — ну, может быть, предсказуемостью непредсказуемой жизни, вернее, наоборот — непредсказуемостью предсказуемой жизни; походка бодро-интенсивная; ножки твёрдо-округло-кнаружи-кривые, хоккейные; сам бодрый, причём бодрость его такова, что вот усаживание за парту к его бодрости ну никак не идёт — ему бы по льду катиться, на гору лезть или смеяться громко над увиденным, тем, что удивляет — ну вот, например, над концепцией английского языка в мединституте, — а его, Государева, зачем-то за парту сажают.

Про его второгодничество я до сих пор не очень-то знаю — с чего оно случилось. Якобы, он играл в команде КВН на своём курсе, а Лёва Гражданинов, завкафедрой физиологии, освобождал участников КВНа от предсессионного зачёта. Этим пользовались не только артистичные натуры, а и, понятно, «косильщики». Государев хоть и вполне-себе артистичен, но и «косить», как и большинство прочих, был не дурак. Зачёт зачётом, а экзамен экзаменом. Лютый Гражданинов не посмотрел благосклонно на всех этих шалых ребят и почти всю мужскую часть команды того курса на экзамене завалил. Их нытьё по поводу того, что, мол, мы пропускали, потому что репетировали, железное сердце Льва нимало не смягчило. Вот Государев и ушлёпал в свой академ. А теперь — к нам.

Вышло то, что мы с Майклом сдружились. Не за один раз, понятно. К тому же, как уже было писано в «Посёлке Просцово» (цитата) «при вводе [в группу] ему подшептнули (видимо Колька с Маришкой), чтоб он на меня сильно внимания не обращал, что, мол, странный я. Однако Майкл позже признался мне, что, взглянув на 8-ю группу, он пришёл к выводу, что я как раз из всей группы самый «нормальный»».

Конечно, общага… Помню, в том же сентябре я, Государев и Петя Сорокин оказались втроём в чьей-то комнате — странность тут в том, что и я, и Мишка, и Петя — к-ские, а кто и где в тот момент был хозяин комнаты — неясно. Итак, мы трое и, конечно, бутылка водки. Помню, мы были «хороши». На магнитофоне крутилась «Стена» пинкфлойдов и вместе с нашим пьяно-рок-н-ролльным настроением докрутилась до финальной *The Trial*. И мы, все трое, встали и возопили хором многократно в кульминации в общажный потолок, обнявшись за плечи: «*Tear down the wall!!!*» Думаю, каждый из нас достаточно слабо понимал, о чём там в подробностях пелось, но Стену нам точно хотелось сокрушить! (И ещё, не знаю, как Петя с Майклом, а я орал «*брэйк ап*», а не «*тэар даун*», как мне слышалось, что, впрочем, почти не меняло и не меняет смысла.)

Хотя Майкл внутри был порой раздумчив и морщебровен, порой даже и до расстройства, но наружу излучал брызгучее веселье: всыпа́л порциями в воздух отточенные, печатные

фразочки и анекдотики. Не то что рассыпал, а именно всыпáл, делая при этом лицо гордо-застывшее, выжидающе-искроглазое, мол, ну, какова шуточка? Но не перебарщивал — выдаст по одному-два перла в день, и хватит. И рад, и доволен. И собой, и теми, кто воспринял шутку.

К примеру. Вот я только что написал про него: «рад и доволен». И вспомнилось сразу его: каламбур — «*ссыт и доволен*». Или вот. Едем в давке в троллейбусе. Надо выходить. Государев говорит по-медицински: «Игорёк, экскретируемся!» Мне смешно. Троллейбус — почка, ну или там кишечник, а мы — отходы.

Государев вместе с своим другом Пашей Ястребовым любили пришутнуть на половую, а ещё лучше гомосексуальную тему. Опять же желательно — в медико-номенклатурном режиме. Например: «Игорёк, слышал, есть две гомосечки…» — «Что за гомосечки?». Тут Государев включал сладенький, детишечно-мультяшный, радостно-чеканящий, смакующий тон: «Гомосечка интерна [внутренняя] и гомосечка экстерна [наружная]».

Таким же тоном он провозглашал, строя глазки Ире Кузикян в учебной комнате кафедры биохимии: «*Как у нашего Ивана на кхм-кхм сидит «Нирвана», как «Нирвана» запоёт — у Ивана кхм встаёт*». Ира Кузикян смеялась и смущённо, и громко, разливисто-брыкалисто. А маленькому этому казановчику только и нужно, чтобы девчонка вот так смеялась. Он делал из себя зомби-фантомаса: вжимал свою смешную, треугольную голову глубоко в плечи, выпучивал глаза до красных прожилок на белках, да ещё и напрягал спрятанную в грудь шею, так что лицо его багровело и надувалось венами; вытягивал паралитично руки вперёд, слегка подрагивая то одной, то другой, растопыря пальцы, и медленно и неуклонно шёл на Кузикян. Ирка визжала, захлёбываясь смехом, и забивалась в угол. Когда Государев приближался, начинала хлестать по нему длинно-музыкальными ладошками, чередуя надсадный смех с «Государев, отстань!». И вся 8-я группа хохотала.

А то начинал плаксиво, едва не моляще, трагично речетативить: «*Ручки тоненькие, ножки тоненькие, на лбу — жилка синяя. Е.. и плачу!!. Ха… ха-ха*». И я, умилённый такого рода скабрёзным эпосом: ха… ха-ха.

— А ты чего из музыки-то любишь?

— Битлз.

— Битлз? Ясно, — поморщился. Но и тут же вскинулся задорно с пародией на «Жёлтую подводную лодку», — *мы с Мы-ко-лой ели помо-рын, ели помо-рын, ели помо-рын!*

«Ладно», — думалось мне, — «не понимают ничего в музыке. И этот — туда же!»

Впрочем, Мишка неплохо разбирался в музыке. Некоторое время он даже где-то там диджействовал. Дома одна из полок у него ломилась от «секретовских» «тысячи пластинок», и я, упёртый лбом монохромно практически в одних битлов, даже не решался всю эту тысячу перелистывать. Полистал, понял, что не знаю и не понимаю всех этих Shocking Blue, A-ha и Dire Straites. Один раз Мишка поставил мне более-менее новый альбом Pink Floid — A Momentary Lapse of Reason, первый трек.

— Угадай, что это? — шептал он.

Я вслушался. Тишина, какое-то смутное прячущееся движение, наплывы густо-туманного электронного звука и — опять тишина. Как будто водяной лёгкий плеск и такой же лёгкий скрип, опять — электронная волна.

— Не пойму…

Мишка пучил на меня свои сюрпризно-выжидающие глаза.

— Сдаюсь.

— Лодка, — Мишка сделал движения руками, как будто двигал вёслами. — Слышишь уключины скрипят…

— Ага. Круто…

2.3.2. Институт

Третий семестр начался с известия о гибели нашей однокурсницы. Упал самолёт, летящий из Минеральных Вод, у нас, здесь, возле деревеньки Спелый Луг. Кто-то знал эту девчонку. Грустные глаза...

Пошли клинические дисциплины. Стали ездить по больничкам. Нас засовывали гуськом в учебную комнату с мрачным электричеством, медицинскими плакатами и длинным столом. Общая хирургия. Начинаем с десмургии (какое занятное завёрнуто-кошачье слово!). Крутили бинты вокруг конечностей, всем по очереди повязали шапочку Гиппократа. Такого рода зрелища вмиг обесценивали девчачью красоту; но девчонки то ли смирились с этим, то ли не знали этого, — лишь всплёскивали руками и ухохатывались друг на дружку.

Повели нашу стайку в шапочках и масках на операцию. Острый аппендицит, под местной анестезией. Голая, худая, красивая девушка на столе. И мы тут — лицезреем, спрятанные за масками. Обернули в простыни. Вымазали йодом, текущим ручейками, операционное поле. Инструменты о лотки — кляц, кляц. Шприц. «Лимонная корка», ручеёк новокаина бежит по йоду, не уместившись в лимоне. Красивая девушка стонет.

Хирург Корнилин, наш препод, бурчит ей из-под маски:

— Ну чего? Укололи и чего?.. Скальпель, — полоска надреза, ручейки теперь крови, — сушить. Лежи спокойно, — девушка стонет и извивается. Ассистент промокает рану, перевязывает сосуды. Скальпель звонко — клац! в лоток.

Девушка стонет и извивается.

— Лежи спокойно, — треск зажимов.

Снова кровь. Перевязывание и клацанье. Извивается и стонет.

Чем больше она извивается, тем темнее и темнее в глазах моих. Ира Кузикян и Маринка Фурсанова вышли в коридор. Испарина на моём лбу. Чей-то шёпот:

— Вон, смотри, Разумов тоже зелёный стоит.

Кто-то взял меня за локоть (должно быть, Вовчик) и вывел в коридор. Я прислонился спиной к холодной, эмалированной стене. Тут стояла участливая, испуганно-на-нас-улыбающаяся Оля Лебедева, без маски и без шапочки. Опытная.

— На, Игорь, понюхай, — тянет к моему носу ватку — удар мерзкого, морозного запаха в нос. Мгновенно опять — свет в глазах. Я выдохнул. Стал чувствовать, как медленно испаряются капли пота на лбу и как ручейки пота текут между лопатками.

Через несколько минут вернулся в операционную. Девушка всё так же извивалась и стонала. Лицо красное, измученное, слёзные ручейки на висках. Корнилин — нам:

— Сейчас гемостаз в подкожке. Дальше какой слой?..

Молчим.

Корнилин тоже молчит. Ковыряется с ассистентом в ране. Тонкие пальцы в кремовых перчатках, неэстетично замазанных подсохшей кровью несчастной девушки. Спустя время:

— Надсекаем брюшину...

Девушке:

— Лежи спокойно. Ну что ты вся извертелась?

Я уже крепок на ногах.

Позже в учебной комнате. Глаза Корнилина будничные, белёсо-голубые, цинично-скучливые, как будто и не резал только что живого человека. Что-то скупо и монотонно говорит нам. Про обработку рук хирурга. Мне непонятно: зачем столько антисептиков на руки лить, если потом всё равно перчатки сверху надевать?

Наконец пауза. Длинная...

— Ну что?..

(Смотрим с надеждой.)

— На следующем занятии разберём группы крови. А сейчас шуруйте домой.

Хватает папку в обнимку и спешно уходит. Радостно двигаем стульями...

На общем уходе. Вместо того, чтобы рассказывать нам об общем уходе, преклонных лет, видимо ещё заставшая войну преподавательница строго выговаривает нам о чести быть врачом.

— На вас белые халаты! — внушительная пауза. — Вы должны быть нравственно чисты. В ваших руках — здоровье и жизнь человека. Пациенты смотрят на вас, как на богов. Помните: вы гордо носите белые халаты! Помните это. Забудьте, что вы ещё дети. Никакого безобразия. Никакой мерзости. Никакого пятна не должно быть на ваших халатах!

Мы торжественно, внимательно-испуганно молчим.

На лекциях чаще всего невыносимо скучно и непонятно. Не то что непонятно, а непонятно — зачем? Зачем так заумно, с выспренними терминами о казалось бы простом и вполне жизненном. Я тогда изнывал. Рассматривал художества студентов, до меня изнывающих, на партах аудитории. Вот. Нежно-любовно, с забвением, пачкающейся, прерывисто выдающей чернила ручкой в голубую, крошащуюся краску вовек вцарапано: *C2H5OHечка*. Я подумал об авторе столь величественного нацарапания. Кто он? Где он сейчас? Может быть уже подавился своим божественным, нежно-лелеемым напитком, и нет его уже?.. Осталась лишь надпись на парте в аудитории.

В общей тетради, вместо того чтобы писать: «*Слизь образуется в результате фильтрации жидкости из кровеносных капилляров, выделений из желез слизистой оболочки и слезных желез. За сутки из слизистой оболочки носа может испариться в зависимости от температуры и влажности воздуха до 0,5 л воды*», я писал то, что вертелось у меня в голове из битлов: «*I am he as you are he as you are me and we are all together. See how they run like pigs from a gun see how they fly. I'm crying*». А в аудиторию нёсся последний летний свет. И глупый Леннонский «*Я — морж*» казался хоть и медитативно-сумасшедшим, но всё же более разумным и приятным, чем все эти «клетки мерцательного эпителия». Лекция кончалась, и я уходил в общагу. Или ехал к Дине.

Вообще, битлы в ту пору крутились в голове всё навязчивей. Тяжело было учиться, довлела эта сухая академичность и неподъёмная зубрёжка. «Битлз» — как привычный, спасательный рефлекс. Помню, зажатый в массе людей в городском автобусе, пропевал про себя одну за одной песни «Сержанта Пеппера» и удивился: я знаю этот альбом уже наизусть, любить его так и не научился, и теперь он для меня — сух, он в прошлом, покойник почти. Но я продолжал выпевать Ленноновское наркотически-замороженное: «*Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes*».

Иногда я подходил к высоким окнам института и смотрел сквозь них на улицу: на проспект Энгельса, обычно. Мне казалось нереальным, что я здесь и сейчас. Такое монументальное, загадочное и непосильное выковывание доктора из человека... Тем более такого невзрачного и ленивого человека, как я. Слишком это, казалось мне, бездушно и отстранённо от меня, от меня как личности, как маленького романтично-эстетствующего червячонки. Я стоял и смотрел сквозь громадное, монументально-грязное стекло на уже не советский проспект, а там, за спиной, в академических сумерках — возня, шуршание, эхо студенческо-преподавательских коридоров. Я, — думалось мне, — какой-то лишний тут. Что твой Печорин на Кавказе.

2.3.3. Вне института

Вестницкий вылетел и поступил снова. И отправился в колхоз с новой группой. Мы ему: ну как? А он: нормально. Он всегда такой. Стоит на мудрой немногословности. Одна девчонка с Кавказа в его новой группе взяла в колхоз чачу, вот её — чачу эту — Тимоха нахваливал. Когда же Шуга толкал его локтем в бок, мол, как там девчонки, Вестницкий сурово, со сдерживаемой смущённой смешинкой, отбрыкивался. А Шуга снова — цап его за бок! — мол, колись, что там?.. Было похоже на то, что теперь Шуга вечно намеревался своего вечного опекуна совратить, то есть «сделать мужчиной». А Тимоха смущался, делался суров, не поддавался.

Мы ходили с Тимохой на готико-эротические польские фильмы в «Искру» (тогда этим делом прорвало-таки кинотеатры). 1974-й. На год позже нашего рождения. «Аморальные истории». Я смотрел на всё это и хмурился. В видеосалонах показывали жизнь в публичных домах и про то, как Микки Рурк вьёт верёвки из Ким Бессинджер. А тут — что-то вроде «значимого кино», как бы «классического». Странно. Полунелегальные видеосалоны показывают «обычные», простяцкие эротические глупости. А тут — задумчиво — о всяких извращениях, — и это уже «значимое искусство». Мы молчали. Никак вслух не анализировали увиденное и в тупик вдуманное. Хотя, собственно, и в видеосалонных фильмах хватало с избытком всякого рода перверсий, хоть и вполне-себе «стыдливых», без открытых демонстраций совокуплений и подобных, безвкусных, крупных планов. Но нам, должно быть, думалось: так, в салонах *так*, а как в официальных кинотеатрах? Что такое этот секс? Как его правильно понять? В салонах-то, понятно, глупость, а *тут*, где цензорская печать установлена, что? Нате вам! — Извращения какие-то средневековые.

Пошли на что посвежее. Снова поляки. «Мужчина в поисках любви». Вот недавний совсем фильм. Польский какой-то слякотник меняет пачками женщин, реалистично лечится от гонореи, грустит, чуть не плачет: когда же он свою-то настоящую женщину найдёт? Всё никак. Всё вспоминается ему *та первая*, с которой он на набережной в шутливых позах ел мороженое и которую так томительно-долго принуждал к дефлорации в начале фильма в палатке. В результате женится он на глупой, очкастой толстухе. Причём важно: когда герой наш сию толстуху соблазняет впервые на природе, та вляпывается плащом промеж как раз лопаток в коровий навоз и с этим, незамеченным ею, ляпком так и садится, расставаясь с возлюбленным, в автобус.

Мы с Тимохой вышли с того сеанса ещё более нахмуренные, нежели после «Аморальных историй». Кино снова обмануло. Съехидничало. Сделало из нас досадных дураков... Из души нашей рвётся вопрос: а где же, в самом деле, любовь? *Что*, как раз в том-самом коровьем ляпке на плаще у глупо-очкатой героини?!.

Идём домой и желаем забыть дурное увиденное.

И такие же глупые к-ские фонари нам светят. В сумерках.

Мне, впрочем, грех жаловаться на любовь. У меня есть Дина. Вот у Вестницкого пока никого нет. Пусть он и думает.

Продолжали регулярно наведываться к Ярославне, на её пятый этаж в «панельке». Сидели у неё на полу, общались. Я — без Дины. Дина не была на короткой ноге с Ярославной. И не рвалась. У меня и у неё — учёба. Мы — не Максим Мальков с Ларисой Сёмгиной, готовые всю жизнь просидеть за одной партой, держась за руки под этой партой. Во-первых, мы разъединяем иногда руки, и руки наши ползут куда хотят. Во-вторых, я вполне могу ходить к Ярославне и без Дины. А Дина на свои дискотеки — без меня.

У Ярославны же мы сидели на полу, она ставила нам пластинки, поила то кофе, то чаем. Говорила, что любит шоколад, и мы иногда приносили ей шоколад.

Ушёл в армию Венчук. Ушёл и Юрик. Юрик во флот. Венчук — точно туда же, где был раньше Вадим, мой брат — на Космодром Байконур (Байкодром Космонур, как его называли смешливые армейцы в сапогах, вроде Венчука). Остались при Ярославне мы вчетвером: я, Васин, Вестницкий да Шигарёв.

Ярославна, чувствовалось, устала от Венчука. Он слал ей письма про то, какого рода там дедовщина; про запаянных в цветную химическую слезу (бокситку что ли?) скорпиончиков; про смешные, бородатые пословицы типа «чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона», а она посмеивалась: видно было: это не про неё, — такого рода рабоче-крестьянско-армейская кирзачовая преданность.

А нас она развлекала чаем и пластинками. И планировался новый поход в Крым в ноябре. Правда, подразумевалось с потаённым страхом, что и к Вестницкому, как вылетевшему на днях из института, постучит армия в дверь. Но Тимоха замороженно молчал. (Пока оно молчало.)

Той осенью Ярославна поставила нам Русский альбом Агузаровой. И до меня таки дошло то, что никак не доходило в давешнем колхозе из того, что проповедовала Маринка Постнова.

Мы всё крутили её надменно-равнодушно-чванное: «*Мнеэ. Харашоо. РррьяАдом с тобой!!*» (и хор джазовых мальчиков-теноров*: УУУАА-а-а* — и пиликают пианинки-клавиши). Мне нравилось, как Агузарова вычурно-рвано орёт в песне «Вернись ко мне»: *ляп-папи-уи-уоп-дэ-лаппапа-па-А-А*, срываясь на гортанный рык не там, где по-простому, по-русско-пьяному, должно бы ожидаться; с джазово-блюзовой, скрипучей утончённостью.

И в конце альбома — «Звезда», удивительной красоты песня. И Агузарова там психоделично и таинственно льёт голос в небеса, тоньше и чище, чем Леннон в *A Day in the Life* и Клэр Торри в пинкфлойдской *The Great Gig in the Sky*.

Ещё Ярославна поставила нам, сидящим на полу, новый альбом «Агаты Кристи». «Декаданс». Странная обложка: четверо людей — ладно, но... рисунки горшка, древнего автомобиля, сизо-художнические мазки. Заскрипела пластинка к первой песне... Унылый гитарный перебор: «*Сезон дождей...*» (Странно, в первом альбоме был заглавный громовой «Инспектор по...», а тут... что-то меланхолично-неуверенное.) Дальше — «Мотоциклетка» какая-то...

Когда нам надоедало, Ярославна ставила бардов. Никитиных. Я был ровен. Песня «Под музыку Вивальди» звучала когда-то давным-давно; а меня охомутал Цой, и это, гитаристо-разли́вное, звучало старо́, как культура СССР, оставшаяся вдруг (!), казалось бы, где-то сзади. Но меня околдовала другая вещь: «*Переведи меня через майдан*». Чем-то она напоминала «Стерха» «Алисы», песню, которую я прожил всю, с надрывом, и даже сорал на выпускном, презрев позор. Никитин тоже ластился... Не как Кинчев, не тяжеловесно, не плюя в лицо диким вином, а как бы интеллектуализируя похожий надрыв. «Пчёлы в гречневом покое», да, это красиво, это поэтично, как нож. «*Где плачет женщина, я был когда-то с не-э-ю. Теперь пройду и даже не узна-а-ю...*» Мне ёкнуло. Мне чувствовалось: ведь теперь и у меня есть женщина... неужели я потеряю её, неужели потом не узнаю её (даже пройдя мимо!)... а ведь она *плачет*. И я встряхивал своей противной раскудрявой, глупой головою, рассеивал мысли. Ведь что за блажь? — Дина же — моя, и я вечно буду с ней!

Потом всё это занудство прерывали Васин с Шигарёвым (мы-то с Вестницким помалкивали). Васин лез с попсой. Смешно перепевал всяких телевизионных «*Стюардесс по имени Жанна*» и «*Посмотри мне в глаза — я хочу сказать*» ... А Шигарёв обрубал рассказом о том, как кто-то — то ли он с кем-то, то ли некие абстрактные — подглядывали за дамами в женской бане сквозь некое отверстие.

— И чего там было видно? — сделала ехидно-строго-выжидающий тон Ярославна.

— Понятно что — ж..ы! — не растерявшись, радостно парировал Шуга, в своей манере, склизко-весело раздвинув басом руки.

— Ну, не знаю, — скуксилась надмено-нравоучительно, но и, как обычно, со смешком, Ярославна. — Я понимаю, если сначала посмотреть на лицо, а уж потом на задницу. А наоборот — нет, мне непонятно. Тем более, если лица́ в принципе не видно.

— Ну-у, — выдохнул куда-то в холодную вселенную Шигарёв, всё с теми же, раздатыми иронично в стороны руками.

Вестницкий смеялся. Васин тоже. Глядя на них, смеялась и Ярославна. И я с ними.

2.3.4. Дина в сентябре

Дома испортился телефон. Работал, но отказывался издавать звук, если кто-то звонил. Я курил на балконе, смотрел в сентябрь и вдруг... меня дёрнуло. Отправился к молчащему телефону и снял трубку. Вместо вполне естественных в данной ситуации беспрерывных гудков, в трубке — голос Дины. И голос далёкий, молящий, униженный. Да, видимо она меня уже любила вовсю... Но как? Почему я рванул к трубке. Невидимая энергия Дининой любви пронзила пространство? — она звонила от универа, а это — километров девять; или это моё любящее сердце учуяло электромагнитные волны с Диниными любовными шифрами в них? Мистика...

Кто-то — должно быть Валерий, Динин зять — одарил Дину кассетой с блатным Розенбаумом. Мы слушали. Открывающая песня — «Снегири». Тюремно-судебная романтика. Алёша, лирический герой, выговаривает возлюбленную Натаху, «*умочившую мента*», и идёт вместо неё в тюрьму, а она кричит ему вдогонку из зала суда: «*Буду помнить до могилы*». Странно. Блатняки в то время воспринимались, как нечто обыденное, почти как попса.

Ещё мы слушали Джо Дассена, всю ту же единственную изданную в СССР пластинку, которую открывала *Et si tu n`existais pas* и заканчивала *Noisette et Cassidy*. Я почему-то в те дни обращал особое внимание на последнюю — хм, Нуазет и Кассиди, легенда что ли какая-нибудь? Песня обрывалась резко, неаккуратно, совсем неподходяще для финала альбома...

Мы разнообразили наши любовные ласки. Я сидел в кресле, под зеркалом, а Дина стояла передо мной, спиной ко мне, в своём мягком, коричневом трико. Я клал подошву правой ноги в носке ей на попу, а она приоборачивалась и смотрела на меня с возбуждённо-играющим ехидством: ей нравилось. Она выкручивала попой, и стопа моя глубже и глубже, жарко внедрялась в её межъягодичную складку. Я был так восторжен, что вскакивал, обнимал свою любовь, целовал её шею, а она совершала те же круги попой, теперь на моём пахе...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.